

ВАРВАРА НИТШЕ

Это один
человек?

Новая жизнь

Кто она?

Стереть
прошлое

След ведёт
к ней

МОЙ ХУДОЖНИК

ЧИСТЫЙ ЛИСТ

КНИГА 2

Прошлое можно стереть.
Правду — нельзя.

Варвара Нитше
Мой художник.
Чистый лист. Книга 2
Серия «Диалогия Мой
художник», книга 2

*<https://litres.ru/74448407>
SelfPub; 2026*

Аннотация

Второй год Ким Монджу служит в полиции и собирает лица со слов свидетелей лучше любой техники. Во внутреннем кармане он носит рисунок, сложенный вчетверо, и не показывает его никому.

Пять лет назад незнакомая женщина трижды приходила к нему с детской фотографией и просила прибавить мальчику двадцать четыре года. Через два дня по этому рисунку нашли и убили человека. Её лицо — единственное, которое Монджу не может вспомнить, и он пять лет считает, что это доказывает: память, его единственное умение, сломана.

А потом инспектор Чон Сыльги находит записку пятилетней давности, написанную рукой капитана: художника позвали в отдел не ради дел. Его посадили на видное место и стали ждать, кто придёт за ним.

Содержание

Часть первая. Самооборона	4
Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	28
Глава 4	41
Глава 5	53
Глава 6	65
Часть вторая. После встречи однокурсников	76
Глава 7	76
Глава 8	88
Глава 9	100
Глава 10	112
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Варвара Нитше

Мой художник.

Чистый лист. Книга 2

Часть первая. Самооборона

Глава 1

В восемь утра в четыреста девятнадцатом было двенадцать человек, и это было слышно.

Сыльги не смогла бы объяснить, что именно. Тот же чайник, те же телефоны, та же батарея под окном, которая с ноября щёлкала два раза подряд и замолкала. Комната была рассчитана на тринадцать, и двенадцать звучали в ней иначе — как счёт, в котором сошлось всё, кроме итога.

Февраль стоял сухой и злой. За окном било солнце, от которого не было тепла, на парковке лежал вчерашний снег, укатанный колёсами до цвета асфальта, и по коридору четвёртого этажа тянуло от входных дверей каждый раз, когда кто-то входил снизу.

Одиннадцатый стол был занят. Восьмой — нет.

На восьмом ничего не сдвинули. Кружка с отбитым кра-

ем стояла там же, где стояла всегда, ручкой к окну; поверх бумаг лежала ручка, которой Чонсок расписывался в журнале и которую два раза в неделю у него уводили и один раз в неделю возвращали; в верхнем ящике, Сыльги знала это и не открывала, лежали салфетки, три вилки и пакетик соли. Уборщица вытирала пыль вокруг предметов, не сдвигая их. Это было заметно по кружке: вокруг неё остался ровный светлый круг, а сама кружка стояла в пыли.

Никто не сказал уборщице, чтобы она так делала. Она сама.

Сыльги села за свой стол и придвинула ведомость на февраль. Ведомость печаталась по форме, а в форме было тринадцать строк.

Она заполнила двенадцать. Тринадцатую оставила пустой, потому что зачеркнуть было нельзя, а вписать было некого, и левой рукой поставила внизу свою подпись — быстро, ровно и без нажима, как расписывалась уже пять лет.

— Инспектор, — сказал Бомин от двери. — Дежурная часть.

* * *

Женщина вызвала полицию сама, в семь двенадцать, и говорила спокойно.

Сыльги слушала запись стоя. В трубке был ровный женский голос, который сказал адрес, потом сказал этаж, потом сказал: «Он умер, кажется. Я его ударила. Он на меня шёл». Дежурный спросил, есть ли в квартире ещё кто-нибудь, и го-

лос сказал: «Нет».

— Кан Суён, тридцать восемь, — сказал Бомин, глядя в планшет. — Муж — Чо Минджэ, сорок три. Женаты одиннадцать лет. Ничего за ними нет: ни вызовов, ни заявлений, ни учёта.

— Что говорит?

— Что защищалась.

Хомин уже стоял у вешалки и снимал с крючка свою ветровку, которой было три года и в кармане которой всегда что-нибудь лежало.

— Я поеду, — сказала Сыльги.

Она сказала это не Хомину, а комнате, и комната не возразила. Донук поднял голову от своих листов, посмотрел на неё две секунды дольше, чем требовалось, и опустил голову обратно.

В машине Сыльги села за руль, хотя по расписанию за рулём был Хомин.

Дорога заняла девятнадцать минут. Пока стояли на светофоре у моста, Сыльги считала, что известно, и выходило, что известно всё: вызвала сама, объяснила сама, оружие в квартире, посторонних нет. Такие дела закрываются за неделю. Прокуратура получает материал, эксперт даёт заключение, женщину отпускают под обязательство о явке, и через два месяца суд решает, была ли необходимая оборона, и обычно решает, что была.

Ей нужно было такое дело. Ей нужно было хотя бы одно

дело, которое кончится там же, где началось.

— Резинка, — сказал Хомин.

Сыльги посмотрела на своё запястье. Она щёлкнула ею три раза и не заметила.

— Принято, — сказала она и убрала руку на руль.

* * *

Дом был девятиэтажный, восьмидесятих годов, с общей лестницей и лифтом, который работал. Квартира была на пятом.

У двери стоял патрульный, молодой, в шапке, и, увидев их, шагнул в сторону и открыл дверь внутрь, придерживая её ладонью.

Хомин вошёл первым.

Он сделал это без паузы, не оглянувшись, и, прежде чем шагнуть, чуть переложил вес на левую ногу, как делают, когда собираются в чём-то себе не позволить остановиться. Сыльги увидела это со спины. Она не сказала ничего, и он ничего не сказал, и патрульный, который не знал ничего, тоже ничего не сказал.

В прихожей пахло жареным луком и хлоркой.

Чо Минджэ лежал на кухне между столом и холодильником, головой к балконной двери. Он был крупный, в трикотажных штанах и футболке, босой, и одна тапка стояла ровно, а вторая лежала на боку в полуметре. Под ним натекло немного, меньше, чем ожидаешь; кровь ушла в шов между плитками и остановилась там, дойдя до порожка.

Нож лежал на столе, на самом краю, рядом с солонкой.

— Сейчас техник снимает нож, — сказал Хёнчоль, не оборачиваясь. — Сейчас техник отмечает, что нож положили, а не бросили.

Он стоял на коленях на подстеленном пакете, потому что колени у него были в том возрасте, когда на плитку не ставятся просто так, и работал медленно, проговаривая себя вслух, как проговаривал двадцать девять лет.

Кан Суён сидела на табурете в коридоре, в пальто, застёгнутом на все пуговицы.

Она была широкая, с усталым лицом и глубокой бороздкой на переносице от очков; очки она держала в руке. Когда Сыльги подошла, женщина попыталась встать, задела плечом косяк и сказала косяку:

— Ой, извините.

Потом посмотрела на Сыльги снизу вверх и сказала:

— Я его ударила.

— Кан Суён? Инспектор Чон, Кванджин-гу. Скажите, как всё было.

— Он пришёл во втором часу. Он выпил. Он не буянил, он никогда не буянил, — сказала женщина и остановилась, будто проверила сказанное на слух и осталась им довольна. — Он сказал, что я ему всю жизнь. Потом поднял руку. Я взяла со стола нож и ударила. Один раз. Он сел и потом лёг.

— Куда ударили?

— Сюда, — сказала Кан Суён и показала себе на живот,

чуть выше пояса, точным движением человека, который уже показывал это сегодня дважды.

— Он стоял или шёл?

Женщина подумала.

— Шёл, — сказала она.

Сыльги записала это в бумажный блокнот, левой рукой, и внизу страницы поставила время.

— Вы вызвали в семь двенадцать, — сказала она. — А случилось во втором часу.

— Я сидела.

— Пять часов?

— Я не смотрела на часы, — сказала Кан Суён. — Я сидела на кухне, потом ушла сюда, потому что там неудобно сидеть.

Это было правдой, и Сыльги это увидела: на кухне было три табурета, и все три стояли задвинутыми, а в коридоре у стены стоял один, вытертый по краю сиденья, с телефоном на подоконнике рядом. Женщина сидела там, где сидела всегда.

— В ванной плитка не доложена, — сказала Кан Суён.

Сыльги подняла голову.

— Он начал четыре года назад, — сказала женщина, глядя мимо неё, в сторону кухни. — Один ряд положил и бросил. Я всё думала, что доложу сама, а там надо клей и уровень, и я не знаю, какой клей.

В коридоре стало слышно, как Хёнчоль проговаривает себе, что техник переходит к раковине.

— Я не про это, — сказала Кан Суён и наконец надела очки. — Я просто говорю.

* * *

В раковине стояли две чашки.

Сыльги посмотрела на них, стоя в дверях кухни, и увидела, что обе с чаем и что в одной осталась заварка на дне, а во второй нет. Она отметила это так, как отмечают предмет, который будет в описи, и пошла дальше.

К одиннадцати приехала Мин Минги, кивнула Сыльги, натянула перчатку поверх печати на большом пальце, не снимая её, и села к телу.

— Одно проникающее, — сказала она через двадцать минут. — Больше ничего. Направление вверх и чуть влево. Скажу точнее завтра.

— Скажите сегодня.

Минги подняла голову.

— Скажу завтра, — сказала она тем же голосом, каким сказала бы «идёт дождь», и вернулась к работе.

Сыльги вышла на лестницу и постояла у окна, где тянуло с улицы. Ей нужно было завтра. Ей нужно было сегодня.

* * *

В отделе она села писать в половине четвёртого и написала за час.

Донук подошёл, когда она дописывала третий лист, и положил перед ней бумагу — не рапорт, а список, разграфлённый в два столбика, где слева было то, что уже сделано, а

справа то, что нет.

Справа первой строкой стояло: «Кто был в квартире с часу до семи».

— Она была одна, — сказала Сыльги.

— Она так говорит, — сказал Донук.

— Донук, у неё нож на столе и муж на полу, и она вызвала нас сама.

— Я не спорю, — сказал он. — Я просто веду.

Он не забрал лист.

— Опрос соседей? — спросил Ёнбин от шкафа.

На площадке было три квартиры, и в семь утра дома были все три. Любой из троих мог сказать, слышал ли он в той квартире с часу до семи хоть что-нибудь, кроме одной женщины на табурете в коридоре.

— Завтра, — сказала Сыльги.

— Есть.

Ёнбин выпрямился и поднял руку к виску, как поднимал всегда.

— Не надо, Ёнбин.

Он опустил руку и вышел с папками.

Соседей надо было опрашивать сегодня, пока они помнят ночь, а не то, что успели рассказать друг другу за день. Сыльги знала это, когда говорила «завтра». Она сказала «завтра».

Бомин, стоя у доски, дописал в углу время — пятнадцать сорок восемь — и, не оборачиваясь, сказал:

— Инспектор, у нас на неделе суд по прошлогоднему. Хо-

мин просил напомнить.

— Принято.

Хван Ина спустилась в начале шестого.

Она вошла без стука, как входила всегда, постояла у двери, посмотрела на доску, где висел один лист с фамилией Чо и адресом, и сказала:

— Быстро.

— Дело простое.

— Я не сказала, что сложное. Я сказала — быстро.

Вязание было у неё в руках, и ряд шёл ровно.

— Материал уйдёт в пятницу, — сказала Сыльги.

— Уйдёт, — согласилась капитан.

Она постояла ещё немного, глядя не на доску, а на восьмой стол, и вышла, и ничего больше не сказала, и вот это Сыльги потом вспоминала дольше всего.

* * *

Госпожа Чхве пришла в шесть.

Внизу позвонили из дежурной части и сказали, что тут женщина, пожилая, с судком, спрашивает четыреста девятнадцатый, и Сыльги сказала, чтобы её проводили.

Она поднялась медленно, держась за перила, в пальто поверх домашнего платья, и в руках у неё был судок, обёрнутый двумя полотенцами и перетянутый резинкой, чтобы не открылся. Волосы у неё были начёсаны, как в тот день, когда Хомин стоял у неё на пороге и его профессиональная улыбка сползла от запаха выпечки.

— Здравствуйте, — сказала она комнате. — Я к вам.

Двенадцать человек посмотрели на неё, и никто не встал.

— Мне сказали, у вас тут погиб который, — сказала госпожа Чхве. — Высокий такой? Нет, не высокий. Который приходил и ел.

Она прошла между столами, безошибочно, будто уже была здесь, и остановилась у восьмого.

— Вот сюда, — сказала она и поставила судок на стол, рядом с кружкой, в пыль. Потом сняла резинку, надела её себе на запястье, развернула полотенца и оставила их лежать. — Это горячее ещё. Пусть покушает.

В комнате никто не двигался.

Донук смотрел в свой лист. Ёнбин, стоявший у шкафа, выпрямился и опустил руки по швам, как делал всегда, когда не знал, что делать. Хомин отвернулся к окну и стоял к ним спиной.

— А вы кто ему будете? — спросила госпожа Чхве у Сыльги.

— Я его инспектор.

— А-а, — сказала старуха и кивнула, будто это всё объясняло. — Тогда Вы ему и скажите.

— Скажу.

Сыльги услышала себя со стороны, и это было хуже, чем если бы она промолчала.

— Я передам, — сказала она.

Госпожа Чхве постояла у стола ещё немного, поправила

полотенце, чтобы лежало ровно, и пошла к двери. У двери обернулась.

— Сын у меня не берёт трубку, — сказала она. — Второй месяц. Ну ничего.

И вышла.

Судок стоял на восьмом столе и остывал, и от него шёл пар, и пар был виден на просвет: за окном уже стемнело, а лампу над восьмым столом никто не включал с января.

Первым подошёл Ёнбин. Он посмотрел на Сыльги, и Сыльги кивнула, и он взял судок обеими руками и понёс его на общий стол у чайника, где стояли чашки, и там открыл.

Ели молча и съели всё.

Бомин собрал полотенца, сложил их вчетверо и убрал в пакет, чтобы вернуть.

* * *

Сыльги вышла в половине десятого.

Машина Чонсока стояла в дальнем углу парковки, там же, где стояла двадцать второго января, носом к забору, и снег на ней лежал двумя слоями — старый, слежавшийся, и поверх вчерашний. Изнутри стёкла заиндевели неровно, пятнами.

Сыльги подошла и посмотрела через заднее стекло.

Контейнеры стояли на сиденье стопкой, четыре или пять, как он их и оставил, и верхний был с синей крышкой.

Она достала телефон, чтобы записать себе задачу, и не записала.

Ключи от машины лежали в сейфе у дежурного, и забрать

их могла она, и оформить передачу семье могла она, и объяснить, почему это до сих пор не сделано, тоже могла только она. Работы там было на сорок минут.

Она постояла ещё немного и пошла к своей машине.

В машине она села, взялась за руль обеими руками и один раз, коротко, ударила по нему пальцами — и остановила себя на втором такте.

Дело было простое: муж, жена, нож, один удар, пять часов молчания и вызов в семь двенадцать. Материал уйдёт в пятницу. Прокуратура вернёт его недели через три с вопросами, на которые она ответит, и всё кончится там же, где началось.

Ей нужно было простое.

Она выехала с парковки в девять сорок одну и всю дорогу до дома думала о двух чашках в раковине и о том, что не спросила, кто пил из второй.

Глава 2

Живое лицо никогда не стоит на месте.

Оно дышит, оно чуть смещается вслед за мыслью, оно каждую секунду немного другое, и художник, который сидит перед ним, работает не по натуре, а по среднему: он берёт двадцать минут этого лица и складывает из них одно. Поэтому портрет живого человека всегда чуть-чуть неправда — и поэтому он бывает похож.

С мёртвым лицом иначе. Оно стоит. Оно наконец даёт себе рассмотреть, и в нём нет ни одного из тех движений, по которым человека узнают в толпе со спины, и потому портрет с покойника всегда похож на кого-то другого. Рисовать мёртвых по фотографиям с места — это рисовать очень точную чужую вещь.

А есть третий случай, самый трудный, и о нём в учебниках не пишут: когда лица нет вообще, ни живого, ни мёртвого, а есть только то, что о нём помнят люди.

— Господин Ким, — сказал Бомин от двери. — К Вам пришли.

* * *

Мальчику было пятнадцать, и он пришёл один.

Он стоял в коридоре четвёртого этажа в школьной куртке, застёгнутой до горла, с рюкзаком на одном плече, и держал телефон в опущенной руке экраном к бедру, как держат то,

что уже двадцать раз показывали и ещё будут показывать.

— Вы рисуете, — сказал он. Не спросил.

— Рисую.

— Мне сказали, Вы рисуете тех, кого не видели.

В коридоре было холодно, тянуло снизу, от входных дверей; мимо прошли двое из шестого кабинета, посмотрели и не остановились.

— Пойдёмте, — сказал Монджу.

В четырёхста девятнадцатом мальчик сел на стул для посетителей, снял рюкзак, поставил его между ботинок и только тогда поднял телефон.

— Вот, — сказал он. — Тут сорок восемь. Я все посмотрел.

Он листал быстро и не смотрел на экран сам, а смотрел на Монджу, и это было хуже всего.

Ким Чонсок на этих фотографиях ел. Ким Чонсок держал в руках поднос. Ким Чонсок смеялся, отвернувшись, за чьим-то плечом, на празднике, где горел свет и было много людей. На двух он был снят со спины. На одной, самой старой, он держал на руках ребёнка, и по тому, как ребёнок держал в кулаке его воротник, было понятно, что ребёнок — этот самый мальчик, только тогда ему было года три.

— Здесь нет ни одной, где он молчит, — сказал мальчик.

— Да.

— Мама говорит, что и не может быть. — Он положил телефон на стол экраном вниз. — Я хочу, чтобы был портрет.

Не с фотографии. Мама не знает, что я пришёл.

Монджу сел напротив.

— Сколько вас?

— Трое. Мне пятнадцать, сестре двенадцать, младшему семь. Младший не помнит, — сказал мальчик и остановился, и потом договорил ровно: — Он думает, что помнит, но он помнит по фотографиям. Я проверял. Он рассказывает то, что на них.

За окном была та февральская серость, которая на палитре собирается из чёрной, белой и капли умбры и всё равно выходит не такой; свет ложился на стол ровной холодной полосой и обрывался на краю.

— Хорошо, — сказал Монджу. — Я сделаю. Но не сегодня и не по фотографиям.

— А по чему?

— По людям.

* * *

Он обошёл кабинет за два дня и спросил у каждого одно и то же.

Он не спрашивал, каким Чонсок был. Он спрашивал: какое у него было лицо, когда он молчал.

Донук положил на стол лист, разграфлённый в два столбика, посмотрел на него и сказал:

— Он не молчал.

— Совсем?

Донук подумал.

— Молчал, — сказал он. — Когда писал. У него получалось так: он писал и одновременно двигал челюстью, как будто читает вслух и не выпускает звук.

Ёнбин сказал, что не помнит, потом покраснел и сказал, что помнит, но не может объяснить, а потом объяснил лучше всех:

— У него брови стояли не как у всех. Не домиком и не прямо. Одна выше, левая. И когда он злился, они не сходились. Оставались так же.

Хонсун ответил через монитор, не поворачиваясь, слишком быстро, как отвечал всегда, и извинился перед монитором, а не перед Монджу:

— Простите. Я его не помню лицом. Я его помню звуком: он ставил контейнеры, и крышка щёлкала два раза. Я работал и по щелчку понимал, что уже полтретьего. Извините.

Мин Минги, которую Монджу нашёл в секционной, сказала ровно:

— Носогубные глубокие, справа глубже. Скулы широкие, кость крепкая. Подбородок тяжёлый, но не выступает, — она перечисляла, натягивая перчатку поверх печати. — Это всё есть на фотографиях, господин Ким. Я вам говорю то, что видно.

— Мне нужно то, чего не видно.

Минги посмотрела на него две секунды.

— Он ел, стоя у окна, и жевал с одной стороны, — сказала она. — С левой. Двенадцать лет с левой. У него на той сто-

роне жевательная была сильнее, я это заметила ещё когда он живой был, и один раз ему сказала, чтобы он сходил к стоматологу, а он сказал, что стоматолог — это тот же следователь, только сразу знает, где ты врал.

Она отвернулась к столу.

— Идите, господин Ким.

Хомин не ответил.

Монджу подошёл к нему в конце второго дня, когда в кабинете было пусто, и спросил, и Хомин посидел, глядя в стол, и сказал:

— Я вспоминаю его в дверях.

И больше ничего не сказал, и Монджу больше не спрашивал.

* * *

В четверг ночью он сел и не смог начать.

Он сделал то, что делал всегда перед первой линией: закрыл глаза и потянулся за лицом. Это не память в том смысле, в каком её понимают; это ближе к тому, как рука находит в темноте выключатель — не вспоминая, а просто зная, на какой высоте он.

Лица не было.

Были куски. Была левая бровь, стоящая выше правой. Была тяжёлая челюсть. Была правая носогубная, глубже левой. Всё это лежало отдельно, как лежит на столе разобранный предмет, и не собиралось ни во что, и чем дольше он тянулся, тем ровнее становилось внутри то место, где полагалось быть

лицу.

Он открыл глаза.

В кабинете горела одна лампа, и он видел стол, и уголь, и лист, и не видел ни одного цвета: всё было светлое и тёмное, и больше ничего, и он даже не отметил этого: отмечать было нечем.

Он просидел так минут двадцать.

Потом взял со стола свою кружку, пошёл к чайнику, и на середине комнаты, у восьмого стола, услышал, как в голове щёлкнула крышка.

Два раза.

Он остановился.

Крышка щёлкала два раза, потому что её защёлкивали большим пальцем сначала с одной стороны, потом с другой, и человек, который её защёлкивал, при этом всегда чуть отводил голову назад и вбок — не глядя, на слух, проверяя, села ли, — и вот в этом движении, в отведённой назад голове, лицо наконец и стояло. Целиком. Со всеми кусками сразу.

Оно стояло не как картинка. Оно стояло как движение, и это было единственное, чем его вообще можно было взять.

Монджу вернулся к столу и записал на полях листа два слова: «отводит голову». Потом посидел ещё немного — руки у него подрагивали, и это было не от холода.

Он не стал начинать в ту ночь. Он знал, что если начнёт сейчас, то будет спешить, а спешат по одной причине — боятся, что уйдёт.

* * *

Он начал в пятницу вечером, когда все ушли.

На одиннадцатом столе под пустой папкой лежали три листа, которые он не трогал с января. Он не сдвинул папку и не посмотрел под неё; он просто отодвинул её к дальнему краю стола, чтобы освободить место, и это заняло полсекунды, и полсекунды он на неё смотрел.

Потом достал уголь, коробку с растушёвками и лист.

Потом достал из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист.

Бумага была мягкая на сгибах, как ткань, и на одном сгибе уже расходилась, и он разворачивал её всегда одинаково: сначала вдоль, потом поперёк, придерживая большим пальцем середину, чтобы не пошло дальше.

С листа на него смотрел мужчина лет тридцати трёх.

Лицо было построено от детского: широкая переносица, короткая верхняя губа, маленькое расстояние между глазами — то, что не меняется, — и на этом каркасе стояли взрослая нижняя челюсть, взрослая шея и складка между бровями, которой у ребёнка на фотографии, конечно, не было. Работа была двухчасовая, уличная, на плохой бумаге, углём и белым мелом, и была она ровно на тридцать тысяч вон.

Поля были исписаны.

Не словами. По всем четырём краям, мелко, в один слой, потом поверх в другой, стояли куски: тяжёлая скула — отдельно; складка между бровями — отдельно; полоса лба; ли-

ния, которой идёт волос надо лбом; ухо, дважды; ещё раз ухо, крупнее. Некоторые были обведены, некоторые перечёркнуты одной чертой. Пустого места на полях почти не осталось, и последние он ставил уже поверх старых, под углом, чтобы отличать.

Монджу посмотрел на лист секунд десять.

Потом сложил его — вдоль, поперёк — и убрал во внутренний карман, где рядом лежал блокнот в мягкой картонной обложке, восьмьсот вон, с вырванными поперёк страницами.

И взял уголь.

* * *

Он начал не с лица.

Он поставил ось — вертикаль от лба к подбородку, чуть уведённую вправо, потому что человек, который двенадцать лет жуёт с левой стороны, к сорока годам держит голову не совсем прямо. Потом две горизонтали: линия глаз и линия рта. Потом скулы — широкие, кость крепкая, как сказала Минги, и на этом каркасе всё сразу стало чьё-то.

Брови он ставил по Ёнбину: одна выше, левая, и они не сходились.

Носогубные — по Минги, справа глубже.

Челюсть — по фотографии, единственное, что он взял с фотографии: челюсть была видна на всех сорока восьми.

Уши он поставил точнее, чем требовалось. Их всё равно никто никогда не рассматривает, и на портрете для семьи

они не значат ничего, но руку он на них не сэкономил ни разу за пятнадцать лет и не стал экономить теперь.

А потом он дошёл до рта и остановился, потому что рука пошла ставить его так, как ставят покойникам: ровно, спокойно, без работы. Так лежит рот, когда лицом никто не пользуется.

Монджу отложил уголь.

Он сидел минуту или две и смотрел на то, что вышло, и это было очень похоже и совершенно мёртво, и он знал, почему: он рисовал человека, которого видел последний раз в морге, и рука помнила именно это.

Он взял чистый лист и начал заново.

На втором он поставил рот работающим — чуть асимметрично, левый угол ниже, как у человека, который жуёт с одной стороны и говорит на ходу, — и от этого поехало всё остальное, и пришлось поднимать линию глаз на миллиметр, и он поднял.

Он перевернул песочные часы четыре раза и на пятый не перевернул.

Дверь была открыта, и в какой-то момент в проёме стало темнее.

Он не поднял головы сразу: рука шла. Когда поднял, в дверях стояла инспектор Чон — в куртке, которая была не по погоде, с ключами от машины в кулаке, держась ладонью за косяк. Она смотрела не на него. Она смотрела на лист.

— Я забыла, — сказала она.

Что забыла, она не сказала. Она постояла ещё секунду или две, глядя туда же, и сказала:

— Работайте.

И ушла, и шаги в коридоре были быстрее, чем ходят, когда возвращаются за забытым.

Монджу опустил голову и некоторое время не работал. Он подумал, что она за весь февраль не сказала ему ни одной фразы длиннее четырёх слов и что дело, вероятно, в трёх листах под пустой папкой; и что если так, то это справедливо.

Потом он вернулся к рту.

В час ночи в кабинете было слышно только батарею и уголь.

Он не стал доводить глаза. Он вообще не тронул зрачки: поставил веки, поставил тень под нижним и оставил. Это было правило, которого он держался пятнадцать лет: если поставить зрачок, человек начинает смотреть, а на портрете, который заказали не для дела, смотреть должен тот, кто держит лист.

Последним он положил на левую бровь один короткий штрих — не тень, а как бы вес, чтобы она стояла выше правой не по рисунку, а по ощущению.

И на этом закончил.

* * *

Мальчик пришёл в понедельник, опять один, опять в застёгнутой куртке.

Монджу положил лист на стол лицом вниз и сказал:

— Смотри один. Я выйду.

— Не надо, — сказал мальчик. — Я так.

Он перевернул лист.

И ничего не сказал.

Он смотрел долго, дольше, чем смотрят взрослые, и лицо у него не двигалось совсем, и по нему нельзя было понять ничего, кроме того, что он не моргает. Потом он положил ладонь на стол рядом с листом, не на него, и сказал:

— Тут у него левая бровь.

— Да.

— Мама говорит, это от меня, — сказал мальчик. — Что он так делал, когда я родился, и потом уже не переставал.

Он аккуратно, за самые края, поднял лист и подержал его на весу.

— Сколько я Вам должен?

— Нисколько.

— Мама сказала, чтобы я обязательно спросил и обязательно заплатил.

— Скажи маме, что я спрошу с неё в другой раз, — сказал Монджу.

Мальчик подумал над этим и, кажется, принял.

Монджу дал ему папку — обычную, картонную, из тех, что лежали в шкафу пачками, — и мальчик вложил лист внутрь, и завязал тесёмки, и завязал их на два узла.

У двери он остановился.

— А Вы его знали? — спросил он.

— Семь месяцев.

— И как?

Монджу подумал.

— Он кормил всех, кто был в комнате, — сказал он. — И считал, что это не про еду.

Мальчик кивнул так, как кивают, когда получили ровно то, за чем пришли, и вышел, придерживая папку обеими руками, и в коридоре было слышно, как он идёт: шаг, потом шаг, потом лестница.

* * *

Монджу вернулся к своему столу.

Пустая папка лежала там, куда он её отодвинул, и под ней ничего не было видно, и он это знал — сам её туда положил в январе.

Он подтянул её обратно на середину стола, ровно, углом к углу, и не поднял.

За окном шёл снег, мелкий и сухой, из тех, что не ложится, а сдувается по асфальту полосами, и в свете фонаря на парковке эти полосы были не белые, а желтоватые, цвета неаполитанской светлой, и он отметил это и удивился, что отметил.

Он выключил лампу, снял со спинки стула шарф и пошёл к двери.

В кармане у него лежали блокнот и сложенный вчетверо лист, и они лежали там рядом уже полгода, и он ни разу об этом не подумал.

Глава 3

Соседей опросили в среду, и это стоило ровно того, чего и должно было стоить.

Из трёх квартир на площадке одна оказалась пустой: Ким Оксун, шестьдесят два года, уехала в Тэгу к дочери в шесть утра во вторник, на неделю, и телефон у неё был выключен: она брала его только для звонков и держала выключенным между ними. Её окно выходило на лестницу. Она была единственной из троих, кто в принципе мог видеть, кто вечером входил в подъезд и кто выходил.

Две оставшиеся квартиры за сутки успели поговорить.

Сыльги поняла это на второй фразе.

Женщина из шестьдесят третьей, О Чхунджа, шестьдесят восемь лет, разговаривала с ними на площадке — в квартире у неё спал внук, — и разговаривала охотно. У неё была привычка договаривать за собеседника: она начинала отвечать раньше, чем кончался вопрос, и потому отвечала не всегда на него.

— Ночью было тихо, — сказала она, — а под утро, часов около шести, вроде хлопнуло.

— Что хлопнуло?

— Дверь подъездная. У нас она хлопает, если не придержать.

— Вы её слышали?

— Ну а как же, — сказала О Чхунджа. — Она на весь дом. Мужчина из шестьдесят первой, Тан Мучхоль, сорок девять, открыл в майке, извинился, ушёл и вернулся в рубашке, и сказал:

— Ночью было тихо. А под утро, часов около шести, хлопнуло.

Хомин улыбнулся ему — не служебно, а так, как улыбаются человеку, с которым сейчас будут долго и без спешки разговаривать, — и спросил, что он делал, когда услышал.

— Спал, — сказал Тан Мучхоль.

— А жена?

— Жена тоже слышала.

— Жена в ночь работает, — сказал Хомин мягко. — С восьми.

Тан Мучхоль подумал.

— Значит, я ей рассказал, — сказал он. — Значит, она мне сказала, что тоже слышала, а слышала я.

Люди, которые сутки обсуждают между собой одно и то же событие, приносят на опрос не то, что помнят, а то, о чём договорились, и договариваются они не нарочно и сами этого не замечают. Через сутки у трёх соседей одна ночь. Через неделю у них одна ночь и одно мнение о том, кто виноват.

— Ничего, — сказал Хомин в машине. — Бывает.

— Бывает, — согласилась Сыльги.

Она сказала «завтра» во вторник в четыре часа дня. Она помнила, как это сказала, и помнила, что знала тогда всё то

же самое, что знала сейчас.

* * *

В отделе её ждали две бумаги.

Первую положила Мин Минги, и там было написано то, что она обещала: одно проникающее, направление снизу вверх и чуть влево, лезвие вошло на девять сантиметров, канал ровный, следов повторного движения нет. Внизу от руки было приписано: «Скажу больше, когда закончу с одеждой».

Вторую положил Ю Хёнчоль, и вторая была хуже.

Нож не был из этой кухни.

В подставке у плиты стояли пять ножей одного набора, дешёвых, с чёрными пластиковыми ручками, стёртых по-разному, как стираются ножи, которыми пользуются шесть лет. Тот, что лежал на столе рядом с солонкой, был шестым и был чужой: другая сталь, другая ручка, другая заточка — заводская, ни разу не правленная. Хёнчоль нашёл коробку от него в шкафу под мойкой, вместе с чеком, и чек был от двадцать третьего января.

Семнадцать дней.

— Сейчас техник обращает внимание, — сказал Хёнчоль в трубку, и по телефону он говорил так же, — что нож был вынут из коробки, а коробка убрана. Не выброшена. Убрана.

— Отпечатки?

— Её. На ручке и на обухе. Больше ничьих.

Сыльги положила трубку и некоторое время смотрела на доску, где висел один лист с фамилией Чо и адресом.

Потом взяла карандаш и приписала под адресом: «нож — 24.01».

* * *

Пол в кухне у балконной двери был вымыт.

Это было в протоколе осмотра и лежало там со вторника, между описанием холодильника и описанием окна, и Сыльги прочитала это во вторник и не остановилась. Теперь она остановилась. Плитка у порожка была светлее остальной, тряпка висела на батарее и была ещё влажной в семь утра, а в ведре под мойкой лежала вторая, скомканная, и её забрали на исследование.

Кровь ушла в шов между плитками и остановилась, дойдя до порожка. Сыльги вспомнила, как это выглядело, и поняла, что видела ровную границу и приняла её за границу.

Она была границей вымытого.

— Донук.

Он подошёл и положил на стол свой лист — тот же самый, с двумя столбиками. Слева, в готовом, прибавилось три строки. Справа первой по-прежнему стояло «Кто был в квартире с часу до семи», и под ней теперь стояла вторая, написанная тем же ровным почерком, которым он писал всё: «Откуда нож».

— Я это уже знаю, — сказала Сыльги.

— Теперь знаете, — сказал Донук.

Он не забрал лист.

— Ещё, — сказал он и показал карандашом в самый низ

правого столбика.

Там было написано: «Чашки, п. 17 описи. Экспертиза не назначена».

— Две чашки в раковине, — сказал Донук. — Обе с чаем. Изъяты. Лежат.

Сыльги посмотрела на строку.

Назначить по ним экспертизу стоило бы восемнадцать дней ожидания и одну строку в постановлении, и восемнадцать дней — это ровно тот срок, на который вопрос «кто пил из второй» отодвинул бы всё остальное. Дело было готово. Дело держалось на ноже, на пяти часах и на вымытом полу, и чашки в нём ничего не добавляли, а прибавить могли только время.

— Не назначай, — сказала Сыльги.

Донук постоял ещё секунду.

— Хорошо, — сказал он и ушёл, и лист остался лежать, и строка про чашки в нём осталась в правом столбике.

* * *

Детализация по её номеру пришла к обеду.

С часу ночи до семи двенадцати с телефона Кан Суён был один исходящий: в два четырнадцать, сорок одна секунда, на номер, зарегистрированный на Ю Мирэ, двадцать шесть лет, прописка в Соннамси.

Сорок одна секунда — это не разговор. Это когда одна говорит, а вторая слушает и кладёт трубку.

— Кто такая? — спросил Бомин от доски.

— Пока никто.

Бомин дописал в углу время — тринадцать двадцать девять — и пошёл за ответом на запрос.

Ответ пришёл через час, и в нём было, что Ю Мирэ с ноября числится в кофейне в Кванджин-гу, в двух кварталах от дома Чо, и что в январе она дважды была в женской консультации на Ачжу-ро.

Сыльги прочитала это стоя.

Потом села, взяла бумажный блокнот, написала левой рукой сверху страницы «Ю Мирэ» и три раза подчеркнула, и подчёркивания вышли неровными, потому что она нажимала.

Всё сходилось, и сходилось не туда.

Женщина покупает нож двадцать четвёртого января. Женщина ждёт мужа во втором часу. Женщина бьёт один раз, точно, снизу вверх, туда, куда бьют, если знают, куда бить. Женщина не звонит в полицию пять часов. Женщина звонит другой женщине — той самой другой женщине — и говорит с ней сорок одну секунду. Женщина моет пол. Женщина садится на табурет в коридоре, где сидит всегда, и в семь двенадцать набирает сто двенадцать и говорит ровным голосом, что он на неё шёл.

Это была не оборона. Это готовили.

* * *

Конверт лежал на левом краю стола под сводкой и был самым маленьким предметом на столе.

Он приехал из муниципального архива Кванджин-гу и пролежал в её машине с двадцать второго января: двадцать второго января в машине оказались вещи поважнее, а потом уже не было ничего важного вообще. В отдел она принесла его во вторник и положила сюда.

Сыльги вскрыла его от нечего делать: она ждала звонка из прокуратуры, и надо было чем-то занять две минуты.

Внутри была опись.

Детский дом «Хансоль», Тонджакку, закрыт в две тысячи двадцатом; личные дела воспитанников за тысяча девятьсот восемьдесят девятый — две тысячи двадцатый переданы в архив района; тридцать одна коробка, номера с четырёхста двенадцатого по четырёхста сорок второй. Не документы. Номера коробок.

Ниже, шестым пунктом, стояло примечание, набранное тем же кеглем, что и всё остальное:

«Выдача личных дел по запросам сторонних организаций и физических лиц производилась в порядке п. 4.2 регламента, с внесением в журнал наименования запрашивающего лица».

Списка в конверте не было.

Сыльги перечитала пункт дважды. Полтора года назад она написала в рапорте, что человек, заказавший состаренный портрет, имел доступ к личному делу Ким Уджина, а значит, круг людей конечен. Рапорт ушёл наверх и вернулся с резолюцией «принять к сведению», и она приняла к сведению.

Она достала бланк, написала левой рукой запрос на выписку из журнала выдачи по личному делу Ким Уджина, тысяча девятьсот восемьдесят девятого года рождения, за весь период хранения, и отнесла его вниз в тот же день, потому что внизу забирали почту до шести.

Потом вернулась и больше о нём не думала.

Прокуратура позвонила в четыре.

Звонил помощник прокурора Ём Чхольсу, с которым она разговаривала раз двадцать за пять лет и ни разу не виделась, и голос у него был как всегда — усталый, вежливый и торопящийся.

— Инспектор Чон. По Чо. Вы идёте по сто пятидесятой?

— Иду.

— Мне сказали, там была оборона.

— Там был нож, купленный за семнадцать дней, — сказала Сыльги. — И пять часов.

— Пять часов — это ещё не умысел, — сказал Ём Чхольсу. — Пять часов — это шок, и защита так и скажет, и суд ей поверит, если Вы не покажете мне, чем она эти пять часов занималась.

— Она мыла пол.

В трубке помолчали.

— Это лучше, — сказал он. — Это сильно лучше. Дайте мне это в пятницу.

— Дам, — сказала Сыльги.

Она положила трубку и осталась сидеть, положив на труб-

ку ладонь.

Она получила то, что хотела получить, и заметила, что не почувствовала ничего, и заметила, что заметила.

* * *

Кан Суён привезли в пятом часу.

Она пришла в том же пальто, застёгнутом на все пуговицы, и села, и положила руки на стол, и очки держала в руке, как держала в коридоре. В комнате было холодно; батарея под окном щёлкнула два раза подряд и замолчала.

— Кан Суён, — сказала Сыльги. — Двадцать четвёртого января Вы купили нож.

— Да.

— Зачем?

— Старые не режут, — сказала Кан Суён. — Я в них не разбираюсь. Взяла который дороже.

— Один?

— Там был набор и был один. Набор дорогой.

— Где Вы его хранили?

Женщина подумала.

— В подставке, — сказала она.

— В подставке пять ножей, и все пять из старого набора. Ваш стоял бы шестым и был бы виден. Он не был виден.

— Значит, в ящике.

— В каком?

— Я не помню, — сказала Кан Суён и надела очки, и посмотрела на Сыльги через них, и стало видно бороздку на

переносице, глубокую и белую.

— Кому Вы звонили в два четырнадцать?

Пауза была короткая — та, в которую не успевают придумать, но успевают решить.

— Не помню.

— Сорок одна секунда. Ю Мирэ.

— Не помню, — сказала Кан Суён.

— Кто она Вам?

— Никто.

— Она Вашему мужу никто?

Женщина посмотрела в стол.

— В ванной плитка не доложена, — сказала она.

Сыльги положила ручку.

Она положила её левой рукой, ровно, вдоль края бумаги, и услышала, как это прозвучало в комнате, где было тихо, и это было хорошо: пусть слышит.

— Вы вымыли пол, — сказала она. — Вы сидели пять часов в квартире, где на кухне лежал Ваш муж, и за эти пять часов Вы позвонили одному человеку и вымыли пол. И только потом позвонили нам. Вы понимаете, как это выглядит?

— Я понимаю, — сказала Кан Суён.

— Как это выглядит?

— Как будто я его убила.

— Вы его убили.

— Я его ударила, — сказала Кан Суён. — Один раз. Он на меня шёл.

Она сказала это тем же порядком слов, что и во вторник, и с той же остановкой посередине, как будто снова проверила фразу на слух и снова осталась ею довольна.

— Он начал четыре года назад, — сказала она. — Один ряд положил и бросил. Там надо клей и уровень.

— Кан Суён.

— Я просто говорю, — сказала она.

* * *

Хван Ина спустилась в семь.

Она вошла без стука, посмотрела на доску, где под фамилией Чо теперь висело четыре листа вместо одного, и постояла.

— Оборона? — спросила она.

— Нет.

— Что вместо?

— Часть первая сто пятидесятой, — сказала Сыльги. — Нож куплен за семнадцать дней. Удар один и точный. Пять часов молчания. Звонок постороннему лицу до звонка нам. Вымытый пол.

Капитан слушала, глядя не на неё, а на доску.

— Чего у тебя нет, — сказала она.

— Мотива, оформленного в бумагу. Будет к пятнице.

— Будет, — согласилась Хван Ина.

Вязания у неё в руках не было. Она держала в обеих руках чашку, и это значило, что решение не принято, а если и принято, то не ею.

— Ты быстро, — сказала она.

— Вы это уже говорили.

— Я и повторю.

Она допила и вышла, и у двери, не оборачиваясь, сказала:

— Лампу над восьмым включите. Она сгорит от того, что не горит.

Никто не встал.

* * *

Материал ушёл в прокуратуру в пятницу.

Сыльги закончила в половине девятого, сложила листы, надписала папку, отнесла её вниз и вернулась за курткой. В комнате оставались двое: Ёнбин, который переписывал что-то в углу и делал вид, что ему есть чем заняться, и Хонсун, у которого в углу среднего монитора шёл кошачий стрим, а сам он спал, положив голову на руку, и очки лежали рядом сложенные.

На восьмом столе кружка стояла ручкой к окну, и вокруг неё был светлый круг.

Сыльги дошла до двери, вернулась, протянула руку и щёлкнула выключателем настольной лампы над восьмым столом.

Лампа загорелась.

Ёнбин поднял голову.

— Пусть горит, — сказала Сыльги.

В машине она села, взялась за руль обеими руками и один раз ударила по нему пальцами, и на этот раз не остановила

себя, а ударила ещё три раза, ровно, как отбивают такт.

Дело было готово. Дело было хорошее. Женщина купила нож, женщина ждала, женщина ударила, женщина мыла пол, и завтра прокурор прочитает это и не задаст ни одного вопроса, на который у неё не было бы ответа.

Она выехала с парковки и на втором перекрёстке поняла, что весь день ни разу не подумала о двух чашках в раковине, и что чашки в описи стоят под номером семнадцать, и что она сама, своей рукой, написала «две» и пошла дальше.

Глава 4

Февральский свет в секционной был не белый.

Он шёл сверху, из четырёх ламп, и всё, что под ним лежало, становилось цвета цинковых белил, разведённых до синевы, — того самого цвета, который начинающие берут прямо из тюбика и потом всю жизнь удивляются, почему у них лица как из гипса. Живому под этими лампами тоже достаётся. У Мин Минги руки были синеватые до запястья, а дальше, где кончалась перчатка, нормальные.

Монджу отметил это и остался стоять у двери: дальше двери его сюда не звали.

— Господин Ким, — сказала Минги, не оборачиваясь. — Идите сюда. Мне нужен человек, который смотрит.

На столе лежала не одежда — лежали фотографии одежды, разложенные в два ряда, и футболка на них была развёрнута и подсвечена сбоку.

— Смотрите на складки, — сказала Минги. — Не на пятно. На складки.

Монджу посмотрел на складки.

Ткань на груди была собрана в горсть — не смята, а именно собрана, лучами, и лучи сходились в одну точку чуть левее середины, на уровне грудины. Он видел такое сто раз, но не на фотографиях: так собирается рубашка, когда её берут в кулак спереди. По тому, куда шли лучи, было видно и вто-

рое — что тянули не на себя, а вниз.

— Кто-то держал его за футболку и тянул вниз, — сказал Монджу.

— Держал правой рукой, стоя лицом. Дальше, — сказала Минги и подвинула вторую фотографию.

На ней было правое предплечье покойного, снятое в ком-свете: четыре бледных овала с внутренней стороны, в ряд, и пятый, отдельно, с другой стороны руки.

— Захват, — сказала Минги. — Расстояние между вторым и третьим — восемнадцать миллиметров. Между третьим и четвёртым — семнадцать. Это узкая кисть. У Кан Суён кисть широкая, я мерила: у неё то же расстояние двадцать три и двадцать два.

— То есть это не она.

— Я этого не сказала. Я сказала, что это не её рука. — Минги натянула перчатку поверх печати на большом пальце, не снимая её, и взяла третью фотографию. — И вот это.

Третья была порожком балконной двери и кровью, ушедшей в шов между плитками.

— Здесь, — сказала Минги и показала мизинцем, не касаясь. — Отпечаток колена. И вот здесь, в двадцати сантиметрах, — край стопы. Босой. Двести тридцать пять, плюс-минус пять. У Кан Суён двести сорок пять, и она в тапках, и обе тапки на месте.

Монджу смотрел на снимок долго.

— Господин Ким, — сказала Минги. — Я вам сейчас ска-

жу одну фразу, и вы её передадите инспектору Чон. Мне она её по телефону договорить не даст. В квартире было двое, кроме него. Я не знаю кто. Я знаю сколько.

* * *

Инспектор Чон дала договорить.

Она выслушала это стоя у доски, где под фамилией Чо висело уже семь листов, и не сказала ни слова, пока Монджу не кончил. Потом сказала:

— Материал ушёл в пятницу.

— Да.

— Сегодня среда.

— Да, — сказал Монджу.

Она посмотрела на доску, потом на восьмой стол, где горела лампа, потом опять на доску.

— Проверка показаний на месте, — сказала она. — В четверг. С защитником. Вы поедете как специалист и будете задавать вопросы только через меня.

— Хорошо.

— Господин Ким.

Он остановился в дверях.

— Не спрашивайте её, что было, — сказала инспектор Чон. — Про то, что было, я спрошу сама.

Монджу подумал, что это, вероятно, самая точная инструкция, какую он получал от полиции за восемь месяцев, и что она была дана не для того, чтобы его ограничить, а для того, чтобы ему не мешали.

Он не стал этого говорить.

* * *

В четверг в квартире было девять человек, и от этого она стала маленькой.

Кан Суён привезли в половине одиннадцатого. Она вошла в свою прихожую, остановилась, посмотрела на вешалку, где висело её же пальто — второе, домашнее, — и сказала вешалке:

— Ой.

Защитник у неё был назначенный, молодой, в хорошем пальто, и он всю дорогу что-то писал в телефоне и в квартире тоже писал.

Монджу поставил стул у стены в коридоре, сел, положил на колени планшет с бумагой и не стал ничего доставать, кроме карандаша. В кухню он не пошёл.

Кухня была четыре с половиной шага в длину и три в ширину. Стол у окна, два табурета задвинуты, третий стоит боком. Холодильник у входа, справа, если войти, — высокий, старый, с магнитами. За холодильником, если стоять у стола, не видно ничего: ни двери в коридор, ни половины прихожей. Балконная дверь — напротив, с порожком, и порожек светлее плитки.

Он нарисовал это за две минуты — сверху, как рисуют план, — и повёл карандашом от стола к двери, проверяя, что закрывает холодильник, и линия у него получилась короче, чем он ожидал.

Он стёр её и провёл заново.

— Кан Суён, — сказала инспектор Чон. — Покажите, где

Вы стояли, когда он вошёл.

Женщина встала к столу, спиной к окну.

— Здесь.

— Он вошёл откуда?

— Оттуда, — сказала она и показала на дверь в коридор.

— Что было дальше?

— Он сказал, что я ему всю жизнь.

— Где он в этот момент был?

— Там же, — сказала Кан Суён. — В дверях.

Инспектор Чон посмотрела на Монджу. Монджу поднял два пальца — не всю руку, два пальца, — и она сказала:

— Одну минуту. Господин Ким.

Он не встал со стула.

— Вы стояли здесь, — сказал он. — Вы не двигались?

— Нет.

— Ни разу?

— Я взяла нож. Он на столе лежал. Я взяла и всё.

— То есть Вы стояли здесь, — сказал Монджу и не показал рукой: показывать было незачем.

— Здесь.

— Хорошо. Он сказал про жизнь из дверей. Что было потом?

— Потом он поднял руку.

— Какую?

— Правую, — сказала Кан Суён.

— Насколько поднял?

Женщина показала: до плеча, ладонью вперёд.

— И Вы это видели.

— Видела.

— Он в этот момент стоял где?

Кан Суён обернулась, посмотрела на кухню, как смотрят в комнате, в которой прожили одиннадцать лет и которую нужно описать чужим людям, и сказала:

— У балкона.

В коридоре кто-то переступил, и заскрипела половица.

— У балкона, — повторил Монджу.

— Да. Спиной к балкону. Я его видела.

Монджу посмотрел на свой план.

От двери в коридор до балконной двери было три с половиной шага по прямой, и прямая эта шла мимо холодильника. Человек, стоящий у стола спиной к окну, видит балконную дверь целиком и не видит дверь в коридор совсем: холодильник закрывает её от косяка до косяка.

— Он говорил из дверей, — сказал Монджу. — И поднимал руку у балкона.

— Да.

— Между дверью и балконом три с половиной шага.

— Ну.

— Вы слышали голос из дверей. Это Вы могли. Оттуда всё слышно, там четыре метра. Но человека в дверях Вы с это-

го места не видите, Кан Суён. Его закрывает холодильник. Встаньте, пожалуйста, где стоите, и посмотрите на дверь.

Женщина посмотрела на дверь.

Она смотрела на неё довольно долго, и защитник перестал писать в телефоне.

— И ещё, — сказал Монджу. — Вы говорите, что не двигались. Тогда есть только одно место, откуда видно и то и другое. Оно вот здесь. — Он поднял карандаш и провёл им в воздухе короткую линию, ведя от порожка вбок, к стене. — Полтора шага от Вас, у балкона, спиной к плите. Оттуда видно и дверь, и балкон, и лицо.

Кан Суён надела очки.

— Я там не стояла, — сказала она.

— Я знаю, — сказал Монджу.

* * *

Дальше нужно было показать, а не сказать, потому что сказанное в протоколе выглядит как мнение специалиста, а специалист по чужим лицам в протоколе о геометрии кухни выглядит смешно.

Монджу взял чистый лист.

Он не стал рисовать план. План уже был, и план ничего не доказывал: сверху видно всё, и потому сверху не видно ничего. Он поставил лист вертикально и начал рисовать кухню так, как её видит человек ростом метр пятьдесят восемь, стоящий у стола спиной к окну.

Сначала холодильник — не весь, а его край, вертикалью,

и вертикаль эта пошла от нижнего обреза листа до верхнего: вблизи холодильник заслоняет всё. Потом узкая полоса стены справа от него. Потом балконная дверь целиком, с порошком и с рамой, и за ней светлое. Потом — ничего. Там, где должна была быть дверь в коридор, у него на листе была плоскость холодильника, и он специально провёл по ней два раза углом грифеля, чтобы она была плотной.

Он подписал внизу мелко: «от стола».

Второй лист он начал с того же порожка.

Отсюда, от балкона, всё стояло иначе. Холодильник уходил вправо и вбок и переставал мешать; дверной проём в коридор открывался целиком, от косяка до косяка; и в проёме помещался человек — целиком, до пояса, с лицом и с обеими руками.

Он вёл карандашом линию от порожка к стене — и линия обрывается: Кан Суён встаёт со стула и идёт к балкону.

Конвойный шагнул за ней, но она никуда не шла. Она дошла до порожка, остановилась там, где стоял бы человек, и повернулась лицом в кухню, и постояла так секунды три, глядя на дверь в коридор.

Потом вернулась и села.

— Кан Суён, не надо, — сказал защитник. Это была его первая фраза за два часа.

— Я ничего, — сказала Кан Суён.

Монджу положил оба листа рядом на стол, левый к левому краю, и не стал ничего объяснять.

Защитник встал и посмотрел на них сверху, и вот тут он убрал телефон в карман.

— Это первый лист — это что? — спросил он.

— Это то, что видно с её места.

— А второй?

— Это то, что она рассказывает, — сказал Монджу.

В кухне было тихо, и слышно было, как на площадке кто-то разговаривает с патрульным.

— Магниты, — сказала вдруг Кан Суён.

Все посмотрели на неё.

Она показала подбородком на холодильник.

— Он их отовсюду возил. Из каждой командировки по одному. Я вчера ночью сняла один и не смогла вспомнить, откуда он. И до утра не вспомнила.

Она сняла очки и посмотрела на холодильник через комнату, прищурившись, и больше ничего не сказала.

* * *

Он вышел на площадку: в квартире стало нечем дышать, и он уже всё видел.

Инспектор Чон вышла через четыре минуты и встала у окна, где тянуло с улицы, и достала телефон, и не стала звонить.

— Она не врёт про то, что было, — сказал Монджу. — Она врёт про то, откуда смотрела.

— Дальше.

— Голос она слышала. Руку она не видела. Про руку ей

рассказал человек, который стоял у балкона и на которого он шёл. Вся её история собрана из двух мест, а человек в ней один.

Инспектор Чон молчала.

— Она рассказывает не то, что видела, — сказал Монджу. — Она рассказывает то, что ей рассказали, и рассказывает добросовестно: она честно ставит себя туда, где стояла, и честно повторяет то, что видел кто-то другой, и не замечает, что этого нельзя увидеть одновременно. Врущий человек так не ошибается. Так ошибается человек, который заучил чужой рассказ.

— И зачем ей чужой?

— Это уже не ко мне, — сказал Монджу.

Инспектор Чон убрала телефон.

— Одиннадцать лет, — сказала она. — Одиннадцать лет я спрашиваю у людей, что они видели. И ни разу не спросила откуда.

Она сказала это не ему, а окну, и Монджу это услышал и посмотрел на её руки, потому что смотреть в лицо было бы слишком долго. Правая лежала на подоконнике плашмя, всей ладонью, прижатая, — так её кладут, когда не хотят, чтобы она была видна.

Он отвёл глаза раньше, чем она это заметила.

— Материал придётся отзывать, — сказала инспектор Чон. — Сегодня. Мне для этого нужно написать бумагу, в которой будет написано, что инспектор Чон в пятницу на-

правила прокурору дело, в котором один человек, а людей в нём двое.

— Да, — сказал Монджу.

— Вы могли бы сказать это в пятницу, если бы я Вас звала во вторник.

— Мог бы, — сказал Монджу.

Он сказал это ровно. Это была правда, а смягчить её значило бы соврать вежливо, и вежливое враньё она бы услышала.

Инспектор Чон отошла от окна.

— Принято, — сказала она.

* * *

В квартире оставалось одно.

Он вернулся, когда Кан Суён уже увели вниз, и прошёл в кухню, где Хёнчоль складывал своё в кофр и проговаривал вслух, что техник заканчивает и что техник ничего не забыл.

Под батареей у стены, между ножкой стола и трубой, стояла пластиковая миска.

Она была светло-зелёная, низкая, с широким краем, и в ней лежал сухой корм — немного, на дне, и он лежал давно: верхний слой потемнел и слипся в корку по краю. Рядом стояла вторая, для воды, пустая и сухая, с известковым ободком.

Кошки в квартире не было.

Монджу присел на корточки и посмотрел на пол вокруг миски. Плитка была затёрта до чистоты в радиусе шага — не

помыта, а именно затёрта, как затирают, когда что-то много раз рассыпают и много раз подметают.

— Это в описи? — спросил он.

Хёнчоль повернулся целиком — шея у него отдельно уже не поворачивалась.

— Что это?

— Миска.

Хёнчоль посмотрел на миску, поднял на лоб огромные очки, посмотрел ещё раз и опустил очки обратно.

— Нет, — сказал он. — Сейчас техник вносит миску.

Он записал, и стало слышно, как скрипит его карандаш, и Монджу подумал, что за восемь месяцев в этой работе он привык к простой вещи, которую снаружи объяснить нельзя: важным оказывается не то, что стоит на видном месте, а то, что стоит там, где его перестали замечать. Кошку кормили. Кошки нет. И никто за четыре дня не спросил, где кошка, — потому что о кошках не спрашивают, когда на кухне лежит человек... да?

Он поднялся, и колени у него хрустнули, и это было унизительно и смешно.

В коридоре, у двери, Кан Суён — уже в пальто, уже с конвойным — обернулась через плечо и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Кошка не наша.

И вышла.

Глава 5

Ю Мирэ нашли через женскую консультацию, и на это ушло три недели.

Из кофейни в Кванджин-гу она уволилась двенадцатого февраля, из съёмной комнаты съехала тринадцатого, телефон сменила, и всё это выглядело как побег ровно до того момента, пока не выяснилось, что двадцатого она встала на учёт в районной больнице в Тэбэксси, по месту жительства матери, под своим именем, с паспортом, и назвала врачу срок — четырнадцать недель.

Человек, который бежит, не встаёт на учёт.

Три недели до этого ушли на то, что надо было сделать в феврале.

Материал из прокуратуры отозвали в четверг вечером, и бумагу об этом Сыльги писала сама, и в бумаге стояло, что по делу установлено присутствие в квартире неустановленного лица. Ём Чхольсу прочитал её и позвонил и сказал одну фразу: «Инспектор, я не буду ничего говорить», — и лучше бы он говорил.

Экспертизу по чашкам назначили в пятницу.

Она пришла через семнадцать дней, и в ней было то, чего Сыльги ждала: на второй чашке слюна женщины, не Кан Суён. Профиль в базе не значился. Строка «Чашки, п. 17 описи» переехала у Донука из правого столбика в левый, и он

принёс лист, и положил его, и ничего не сказал, и это было единственное, что он мог сделать хуже, чем сказать.

Дальше пошло быстро, и быстрота эта была унижительной: кофейня, кадровые документы, две записи в женской консультации на Ачжу-ро, запрос по учёту беременных — и Тэбэк. Четыре дня. Всё, что для этого понадобилось, лежало на своих местах и в феврале.

— Она не пряталась, — сказал Хомин, глядя в распечатку.
— Она уехала домой.

— Это одно и то же, если тебе двадцать шесть, — сказала Сыльги.

Выехали в шесть утра, вчетвером, на двух машинах. Дорога заняла три с половиной часа. Снег в горах ещё лежал, а в Сеуле уже сошёл, и всю дорогу было видно, как он отступает вверх по склонам полосами, оставляя мокрое и чёрное; в низинах пахло талой водой, и Сыльги опустила стекло на два пальца и не поднимала, пока не начала мёрзнуть рука.

Дом стоял на краю посёлка, двухэтажный, с пристроенным гаражом, и во дворе была натянута верёвка, и на верёвке висели два одеяла.

У двери Хомин вошёл первым.

Ёнбин, которому велели приехать, шагнул вперёд и обнаружил проём уже пустым.

* * *

Ю Мирэ сидела в кухне у матери и чистила редьку.

Она подняла голову, увидела в дверях четверых, и нож по-

ложила сразу — на доску, лезвием от себя, и вытерла руки о фартук, и это заняло у неё три секунды, и за эти три секунды у неё в лице не появилось ничего.

— Ю Мирэ? Инспектор Чон, Кванджин-гу.

— Да, — сказала она.

Мать стояла у плиты и не понимала, и Мирэ сказала ей:

— Мам, это по работе.

Мать посмотрела на неё, потом на Сыльги, потом опять на неё, и вытерла руки, и села на табурет у плиты, и больше не встала.

Ю Мирэ сняла фартук, повесила его на гвоздь, взяла с крючка пальто и застегнула его, и, пока шла к двери, расстегнула и застегнула ещё раз.

У порога она обернулась.

— Мам, редьку доделай, — сказала она. — Она пропадёт.

Во дворе на верёвке висели два одеяла, и одно из них Хомин, проходя, придержал рукой, чтобы оно не мазнуло Ю Мирэ по лицу, и не сказал при этом ничего, и она не сказала.

В машине она села, посмотрела в окно и сказала негромко:

— Один, два, три, четыре.

— Что? — спросил Хомин.

— Ничего, — сказала Ю Мирэ. — Столбы.

* * *

В отдел приехали в третьем часу.

В коридоре четвёртого этажа она остановилась, посмотрела на ряд стульев у стены и сказала:

— Семь.

— Сядьте на любой, — сказала Сыльги.

— Я не про это, — сказала Ю Мирэ и села на четвёртый.

— Кошка у соседки, — сказала она, ни к кому не обращаясь. — Я ей сказала, что на неделю.

Никто не спросил, о какой кошке. Через минуту открыли кабинет, и все встали.

Допрос начали в пятнадцать сорок. Бомин записал время в углу планшета и сел у стены.

— Ю Мирэ, двадцать шесть лет. Вы знали Чо Минджэ?

— Знала.

— Как?

— Он ходил в кофейню. Полтора года ходил, — сказала она. — Потом не только в кофейню.

— Вы были в его квартире в ночь с понедельника на вторник, девятого февраля?

— Была.

Она сказала это так же ровно, как «знала», и Сыльги, у которой на столе лежал подготовленный лист с одиннадцатью вопросами, поняла, что одиннадцать вопросов ей не понадобятся.

— Зачем Вы приехали?

— Сказать его жене.

— Что сказать?

— Что я беременна и что я уйду и что она может ничего не делать, — сказала Ю Мирэ. — Я репетировала три дня. Я

хотела сказать это ей, а не ему. Ему бесполезно.

— Во сколько Вы пришли?

— В половине двенадцатого.

— Она Вас впустила.

— Она сказала: «Разувайтесь, у нас холодный пол», — сказала Ю Мирэ, и это была первая фраза, на которой у неё дрогнул голос, и она переждала и продолжила: — И поставила чайник.

Сыльги смотрела в блокнот и не писала.

— Вы пили чай.

— Пили.

— Сколько времени?

— Час сорок, — сказала Ю Мирэ. — Я потом считала. Час сорок.

— О чём Вы говорили?

Ю Мирэ подумала.

— Про плитку, — сказала она.

* * *

Он пришёл в десять минут второго.

Дальше она рассказывала быстрее, и Сыльги её не оставливали.

Он был пьяный, но не буйный, он никогда не буянил. Он остановился в дверях кухни — увидел на своей кухне двоих — и с полминуты не говорил ничего. Потом сказал, что она ему всю жизнь. Он сказал это жене, стоя в дверях, и Мирэ, стоявшая у балкона, слышала это и видела его лицо.

Потом он пошёл через кухню.

Он шёл к Мирэ. Он поднял правую руку до плеча, ладонью вперёд, и на этом Сыльги, слушавшая всё это с закрытым блокнотом, услышала не её голос, а другой, из коридора чужой квартиры, месячной давности: «Между дверью и балконом три с половиной шага».

— Дальше, — сказала она.

— Дальше Суён взяла нож, — сказала Ю Мирэ.

— Кан Суён взяла нож.

— Со стола. Она стояла у стола. Она взяла его и держала вот так, — Ю Мирэ показала: у бедра, лезвием вниз, — и сказала: «Минджэ». Один раз, по имени. Она его не собиралась. Она хотела, чтобы он остановился.

— Он не остановился.

— Он даже не посмотрел на неё, — сказала Ю Мирэ.

Она замолчала и молчала секунд десять.

— Я взяла у неё нож, — сказала она. — Из руки. Она не держала, он сам вышел. И ударила. Один раз, снизу. Я не целилась. Я вообще ничего не думала, я потом сорок минут пыталась вспомнить, что я думала, и там ничего нет.

Бомин, не поднимая головы, записал в углу время.

— Он сел, — сказала Ю Мирэ. — Потом лёг. Я встала на колени и держала ему тряпку, и она сразу вымокла, и я поняла, что это глупо, и всё равно держала. Потом Суён сказала мне выйти в коридор.

— Что было в коридоре?

— Она сказала, чтобы я уезжала домой и не звонила ей. Она сказала: «Ты сегодня здесь не была». Она мне это два раза сказала. Потом она вынесла мои туфли, потому что я про них забыла.

— Во сколько Вы ушли?

— Я не смотрела. Было темно и никого.

— В два четырнадцать она Вам позвонила. Сорок одна секунда.

— Да, — сказала Ю Мирэ. — Она сказала, чтобы я, если спросят, говорила, что была дома. И чтобы больше не звонила. Я сказала «хорошо». Я тогда ещё не понимала, что она собирается делать.

— А когда поняли?

— Через два дня, — сказала Ю Мирэ. — Когда в новостях написали, что жена. — Она посмотрела на свои руки, на обкусанные заусенцы. — Я думала, я успею. Я думала, это на день, на два, пока она подумает. Три недели.

Сыльги открыла блокнот и написала левой рукой одну строку.

— Ю Мирэ. Вы понимаете, что Вы сейчас говорите?

— Понимаю.

— Вам двадцать шесть лет, Вы беременны, и Вы можете молчать, и Ваш защитник Вам это скажет.

— Я знаю, — сказала Ю Мирэ.

— Тогда зачем?

Она подняла глаза, и это было первый раз за час.

— Он потом вырастет и прочитает, — сказала она. — Там будет написано, кто.

* * *

У двери, когда её уже выводили, Ю Мирэ остановилась и обернулась.

— Она чёрная, с белым на груди, — сказала она. — Минджэ привёз её ко мне в декабре, потому что Суён от неё чихала. Ей одиннадцать лет. Ей нельзя одной, она орёт.

— Я запишу, — сказала Сыльги.

И записала — левой рукой, на той же странице, где уже стояла одна строка, и это была вторая.

* * *

Кан Суён привезли в шесть.

Ей сказали не сразу. Сыльги села напротив, положила перед собой бумаги и семь минут задавала те же вопросы, что задавала месяц назад, и получала те же ответы, слово в слово, с той же остановкой посередине. Она хотела услышать это ещё раз целиком, прежде чем сломать.

— Кан Суён. Ю Мирэ дала показания.

Женщина не шевельнулась.

— Она рассказала, во сколько пришла, что Вы поставили чайник, сколько времени вы пили чай и о чём говорили. Она рассказала, кто взял нож со стола и кто ударил. Она сказала, что Вы вынесли ей туфли.

Кан Суён сняла очки.

Она держала их обеими руками, за дужки, и вертела, и

Сыльги в первый раз за всё это время увидела, что у неё дрожат руки — не сильно, ровным мелким дрожанием человека, который очень долго держал что-то тяжёлое и наконец поставил.

— Вы вытерли рукоятку, — сказала Сыльги. — И потом взяли нож так, как его никто никогда не берёт: за ручку и за обух. Вы держали его двумя пальцами за спинку лезвия, чтобы остались следы и там. Вы положили его на стол, а не бросили. Вы вымыли пол там, где она стояла на коленях. Вы просидели пять часов и в семь двенадцать позвонили и сказали ровным голосом, что он на Вас шёл.

— Да, — сказала Кан Суён.

— Зачем?

Женщина надела очки обратно.

— Ей двадцать шесть, — сказала она.

— Это не ответ.

— Это ответ, — сказала Кан Суён. — Просто он Вам не нравится.

Она посмотрела в стол.

— Одиннадцать лет он решал, — сказала она. — Куда мы едем, что мы покупаем, когда мы кладём плитку. Я не жалуясь, я не про это. Я про то, что за одиннадцать лет я ни разу ничего не решила. А тут он лежит, и решать больше некому, и я сижу на табурете и понимаю, что вот это — моё. Что вот это я решаю сама.

— Вы решили сесть за чужое.

— Я решила, — сказала Кан Суён. — Первый раз за одиннадцать лет.

Сыльги молчала.

— А она всё испортила, — сказала Кан Суён без всякой злости, тем же ровным голосом, каким говорила про клей и уровень. — Ну ничего.

Сыльги собрала бумаги.

— Кан Суён. Вам будет предъявлено укрывательство и заведомо ложные показания. Это не пятнадцать лет. Это меньше, и намного, и Вам объяснят насколько.

— Хорошо, — сказала Кан Суён.

— Вы понимаете, что Вы месяц сидели под сто пятидесятой первой части?

— Понимаю.

— И что Вы бы под ней и остались?

Женщина подумала.

— Я на это и рассчитывала, — сказала она.

* * *

Ём Чхольсу позвонил в восьмом часу, когда Сыльги дописывала второй протокол.

— Значит, у меня теперь двое, — сказал он.

— Двое.

— И одна из них беременна на семнадцатой неделе и сама пришла.

— Она не пришла, — сказала Сыльги. — Мы за ней ездили.

— Инспектор, для суда это одно и то же, — сказал Ём Чхольсу. — Я не жалуюсь. Я говорю Вам, что это будет за дело: суд посмотрит на неё, потом посмотрит на вторую, потом на фотографию покойного, и не найдёт в комнате ни одного человека, которого ему захочется наказать. И всё равно наказать придётся, потому что человек убит.

— Я знаю.

— Знаете, — согласился он. — Вы мне это в феврале и принесли, только тогда там было аккуратнее.

Он положил трубку раньше, чем она успела ответить, и это было не хамство, а вежливость: он дал ей не отвечать.

* * *

В отделе было тихо и горело три лампы.

Сыльги дописала протокол в половине десятого, отнесла его, вернулась и села, и некоторое время просто сидела: ехать было ещё рано, а работать уже не было чего.

Хёнчоль сидел через два стола, разбирая свои бумаги на три стопки, как разбирал их каждый четверг, и, не поднимая головы, сказал в стол:

— К осени, — сказал он.

Никто не ответил.

Он сложил одну стопку, придавил её степлером и сказал:

— Я про себя. К осени меня тут уже не будет. Я это говорю не для того, чтобы кто-нибудь что-нибудь сказал.

Ёнбин у шкафа поднял голову. Он открыл рот, и Сыльги увидела, как он открыл рот, и увидела, как он его закрыл.

За спиной у Хёнчоля, в четырёх метрах, стоял восьмой стол, и на нём горела лампа, и вокруг кружки был светлый круг, и рядом с кружкой лежала ручка, которую два раза в неделю уводили и один раз в неделю возвращали, и которую с января никто не увёл ни разу.

Никто не ответил.

Хёнчоль сложил вторую стопку, потом третью, потом собрал все три и выровнял их об стол — три раза, углом, — и понёс к себе.

У двери он остановился и сказал в дверь:

— Четыре с половиной метра. Я на ней ни разу даже не сидел.

И вышел.

* * *

В машине Сыльги достала телефон и нашла в описи пункт семнадцать.

«Чашки чайные, фарфор, белые с синим ободком, 2 (две) шт., в раковине. Изъяты 09.02».

Она смотрела на это довольно долго.

Потом убрала телефон и поехала, и уже на выезде подумала, что за месяц у неё было ровно два простых дела: одно, которое она вела быстро, и одно, которое она вела правильно, и что это было одно и то же дело.

Глава 6

В марте свет в четыреста девятнадцатом сместился.

Это происходит каждый год и каждый год незаметно: в феврале солнце достаёт только до второго ряда столов и ложится на них полосой цвета разбавленной охры, а к середине марта доходит до дальней стены и по дороге делается светлее и суше, ближе к неаполитанской. Монджу заметил перемену не по свету, а по тому, что у Хонсуна на среднем мониторе стало плохо видно кота, и Хонсун второй день двигал монитор и извинялся перед ним за это.

Дело Чо закончилось во вторник.

Оно закончилось так, как заканчиваются дела, в которых всё выяснено: без единой минуты, на которой кто-нибудь захотел бы остановиться. Ю Мирэ увезли в изолятор для беременных в Кёнгидо. Кан Суён отпустили под обязательство о явке, и она вышла из здания в том же пальто, застёгнутом на все пуговицы, и на крыльце остановилась и посмотрела на небо, как смотрят, соображая, брать ли зонт. Ём Чхольсу принял материал и в тот же день переквалифицировал, и в постановлении у него было написано много слов, из которых ни одно не было лишним и ни одно не помогало.

Кошку забрала соседка Ю Мирэ, у которой кошка и так уже жила месяц, и в четверг эта соседка позвонила в дежурную часть и попросила соединить её с тем, кто ведёт дело,

чтобы спросить, надо ли отдавать кошку обратно и кому.

Сон Мира соединила её с Боминем.

Бомин записал время и полчаса объяснял женщине то, чего не знал сам.

* * *

В среду в четырёхста девятнадцатом было тихо так, как бывает после сданного дела, и тишина эта была нехорошая.

Донук положил свой лист на стол и в правом столбике у него не было ничего. Он посмотрел на пустой столбик, поддержал лист, потом всё-таки оставил его лежать: относить было некуда.

Бомин принёс из шкафа пакет с двумя полотенцами, сложенными вчетверо, — теми самыми, в которых был судок, — и стал звонить, чтобы узнать адрес госпожи Чхве, и звонил долго. Адреса у них не было: женщину никто не оформлял, она просто приходила.

Хомин ел. Он ел с февраля не переставая — не жадно, а ровно, как топят печь, — и в этот день у него на столе стояли две пачки печенья, и вторую он открыл, не заметив, что открыл.

— Господин Ким, — сказал он. — Вам оставить?

— Оставьте.

Монджу съел четыре штуки стоя, у окна, быстро: сесть значило бы остаться сидеть.

За окном был двор, забор и за забором дорога, и по дороге шла женщина с ребёнком, и ребёнок шёл, наступая только

на светлые плиты, и мать шла медленнее, чем ходит, и не торопила.

— Хорошее дело, — сказал Хомин в спину. — В смысле — плохое.

Монджу кивнул.

— Их обоих жалко, — сказал Хомин. — Обоих. Я так не умею. Мне всегда кого-то одного.

Он закрыл вторую пачку, посмотрел на неё и открыл обратно.

* * *

Монджу в этом деле сделал одну вещь и знал её цену.

Он нашёл место, с которого нельзя было увидеть то, что человек видел, и из этого вышло, что в кухне стояли двое. Дальше три недели работали другие: экспертиза, кадровые документы, две записи в консультации, четыреста километров дороги. Портрет не закрыл ничего — никакого портрета и не было; была геометрия комнаты и женщина, добросовестно повторявшая чужой рассказ.

И всё-таки его позвали, и он поехал, и его вопрос оказался тем вопросом.

Он думал об этом три дня, и на третий понял, что думает не про Кан Суён.

Он думал про то, как человек берёт два разных места и складывает их в один рассказ, и рассказ этот выходит связный, подробный, честный и невозможный, — и сам рассказчик не видит в нём ничего странного, потому что внутри рас-

сказа всё сходится. Кан Суён не врала. Она держала в голове две картинки, и одна из них была не её, и она об этом не знала.

Он знал ещё одного человека, который держал в голове картинки и не знал, сколько их.

* * *

Три листа лежали на одиннадцатом столе под пустой картонной папкой с января.

Он положил их туда в ночь на двадцать третье и с тех пор не поднимал папку ни разу: отодвигал, когда нужно было место, подтягивал обратно, ровно, углом к углу. В феврале он один раз смотрел на неё полсекунды и не поднял.

В пятницу вечером, когда все ушли, он её поднял.

Листы были обычные, из той же пачки, что и всё остальное, и уголь на них немного смазлся от лежания, но не сильно: он их тогда закрепил.

На первом лицо было узкое и длинное, с высоко и тонко поставленными бровями и глубоко сидящими глазами; волосы забраны назад туго, до натяжения на висках. Скулы стояли резко — резче, чем следовало: он взял их из света, которого в тот вечер не было. В январе он это знал и всё равно оставил, ведь убрать значило бы поправить память задним числом.

На втором лицо было круглое — не полное, а круглое: короткий овал, широкие скулы, тяжёлые нижние веки, брови низкие и почти прямые, рот широкий, с опущенными угол-

ками. Волосы распущены до челюсти и лежат на скулах.

На третьем лице было взято сверху — в третий раз он работал стоя: широкий низкий лоб, короткий нос, тяжёлая квадратная челюсть, которую снизу не видно вовсе, густая чёлка до бровей. Правый глаз светлее левого.

Три разные женщины. Ни одной общей точки, кроме того, что все три — женщины.

Ушей не было ни на одном листе. Уши на всех трёх были закрыты волосами, и это он тоже проверял в январе, и это было единственное, чего он не смог поставить даже наугад.

Пять лет он пытался нарисовать ту, которая заказала состаренный портрет Ким Уджина, и пять лет у него выходило три, и все пять лет он считал это своей неудачей — доказательством того, что память у него испорчена, что он вспоминает не человека, а свою тревогу, что он видит то, что хочет видеть. Он ходил с этим к двум специалистам, и оба сказали одно и то же вежливыми словами.

А в январе он положил перед собой три листа и первый раз в жизни не стал сводить их в один.

И теперь у него в голове была не картинка, а вопрос, и вопрос был короткий: а что, если я не ошибаюсь?

Монджу сложил листы в папку — не в пустую, а в свою, с тесёмками, — и завязал тесёмки, и не завязал на два узла.

* * *

Инспектор Чон была на месте в понедельник в половине восьмого утра, и в комнате, кроме неё, никого не было.

Она писала. Она писала левой рукой, ровно, с наклоном влево, и правая лежала рядом на столе, придерживая лист, — вернее, лежала на листе всей ладонью: придерживать бумагу пальцами она давно перестала.

Монджу подошёл и положил папку на угол её стола.

— Что это?

— Это то, о чём я Вам не говорил, — сказал он.

Она отложила ручку. Развязала тесёмки — и это заняло у неё больше времени, чем занимает у людей: делала она это одной рукой. Он не стал помогать — предложить помощь тут было бы то же самое, что сказать вслух, что он видит.

Она разложила листы в ряд.

Она смотрела на них долго, и лицо у неё было такое, каким оно бывало у неё в машине, когда она считала, что известно.

— Кто это?

— Женщина, которая пять лет назад заказала мне портрет, — сказал Монджу. — Все три.

— Все три, — повторила инспектор Чон.

— Я видел её три раза, — сказал Монджу. — В пятницу вечером у метро, во вторник утром у книжного и в четверг поздно, там же. Двадцать минут, сорок минут и двадцать минут. Три места, три раза суток, три света. И у меня в голове три лица.

— Вы их путаете.

— Нет, — сказал Монджу. — Я бы путал, если бы они были похожи. Посмотрите на них. Между первым и вторым нет

ни одной общей черты. Это не память, которая размылась. Размытая память даёт одно лицо и неуверенность. У меня три лица и уверенность.

Инспектор Чон подвинула к себе второй лист.

— Пять лет, — сказала она.

— Да.

— Вам было двадцать шесть. Вы её видели три раза по двадцать минут, пять лет назад, и Вы мне говорите, что помните все три лица точно.

— Я не могу вспомнить одно лицо, потому что их было не одно, — сказал Монджу.

Она посмотрела на него.

Это был один из тех редких случаев, когда она смотрела прямо, и он выдержал две секунды и перевёл взгляд на переносицу, как делал всегда.

— Господин Ким, — сказала инспектор Чон. — Я скажу Вам, что я вижу. Я вижу три очень хороших рисунка, сделанных человеком, который пять лет живёт с тем, что по его рисунку убили человека. Я вижу, что он всё это время пытался вспомнить, и не вспомнил, и это его не отпускает. И я вижу, что он придумал объяснение, при котором он не виноват в том, что не помнит.

— Да, — сказал Монджу. — Это тоже видно.

— И это Вас не смущает?

— Смущает. Я поэтому Вам их и принёс, а не оставил у себя.

Инспектор Чон встала.

Она отошла к окну, где на подоконнике стояла кружка с ячменным чаем, и постояла там спиной, и заговорила, не поворачиваясь, — а потом всё-таки повернулась: говорить в спину она не умела, и в этом была вся её выучка.

— Теперь второе, — сказала она. — И оно хуже первого. Вы понимаете, что Вы мне сейчас сказали как свидетель?

Монджу молчал.

— Вы сказали, что один и тот же человек может дать Вам три несовместимых лица, и Вы этого не заметите. Девять месяцев Вы делаете портреты по описаниям свидетелей. Мы по ним ищем. Суд по ним читает Ваши заключения. Хёнчоль с июля ходит и говорит всем, что художник — это фокус, и до сих пор ему никто не верил: нечего было предъявить. Вы мне сейчас предъявили.

Она вернулась к столу и сложила листы стопкой, ровно, постучав ими по столешнице.

— Если это уйдёт в бумагу, — сказала она, — у нас с Вами будет не одна женщина с тремя лицами. У нас будет восемь дел, в каждом из которых защита спросит одно и то же.

— Я знаю, — сказал Монджу.

— Знаете, — сказала инспектор Чон, и он услышал в этом слове усталость, а не насмешку.

Она положила стопку на угол стола, ближе к нему.

— Оставьте это себе.

— Вы мне не верите.

— Я Вам верю, — сказала она, и это было неожиданно, и он поднял голову. — Я верю, что Вы помните три лица. Я не верю, что их было три.

Он забирает листы — и рука останавливается: она говорит ещё одно.

— И вот что, господин Ким. Не приносите мне это по одному листу в месяц. Принесёте, когда у Вас к ним будет хоть что-нибудь, кроме Вашей головы.

* * *

Хван Ина позвала его к себе в тот же день, в третьем часу. Кабинет у неё был маленький и тёплый, и на столе стояла корзинка с карамельками в разноцветных обёртках, которую в четыреста девятнадцатом знали все и о которой никто никогда не говорил вслух.

— Садитесь, господин Ким.

Он сел.

— По Чо, — сказала она, — Вы сделали хорошо. Я прочитала протокол. Там всё держится на том, что Вы догадались спросить не то, что спрашивают.

— Это спросила бы и она.

— Она бы спросила, — согласилась Хван Ина. — Через неделю.

Она достала из ящика бланк, подписала его, не читая, и отложила.

— У нас скоро будет дело, — сказала она. — Тяжёлое. Вы понадобится с первого дня, а не с третьего.

— Хорошо.

— Я не спрашиваю, готовы ли Вы, — сказала Хван Ина.

— Я говорю, что будет.

Она сняла очки, и они повисли на цепочке.

— Господин Ким, Вы у нас девять месяцев, — сказала она. — За это время Вы ни разу ничего не попросили. Ни отгул, ни стол ближе к окну, ни чтобы Вам поменяли стул, который скрипит. Мне это не нравится.

— Мне подходит стул.

— Стул не подходит никому, — сказала капитан. — Я это к тому, что человек, который ничего не просит, обычно копит одну большую просьбу. Когда накопите, приходите сразу, не носите её по этажу.

Монджу подумал, что это самая точная вещь, которую ему сказали за девять месяцев, и что сказана она была очень доброжелательно.

— Как Вы вообще?

Монджу подумал, что за девять месяцев она задала ему этот вопрос дважды и оба раза не в тот день, когда его задают из вежливости.

— Работаю, — сказал он.

— Работайте, — сказала Хван Ина.

Она пододвинула к нему корзинку.

— Возьмите.

Он взял одну — зелёную, с мятой, — и она смотрела, как он берёт, и ряд у неё на спицах в этот день не шёл, потому

что спицы лежали в ящике, и ящик был закрыт.

* * *

Вечером Монджу не стал класть папку под пустую.

Он положил её в сумку, вместе с планшетом и коробкой растушёвок, и застегнул сумку, и надел шарф, и посмотрел на одиннадцатый стол, на котором теперь не лежало ничего.

Пустая картонная папка так и стояла углом к углу, и под ней было пусто, и это было видно снаружи, и в первый раз за два месяца это не значило ничего.

В коридоре четвёртого этажа тянуло снизу, от входных дверей, но тянуло уже не тем, чем в феврале: снаружи пахло мокрым асфальтом и где-то за оградой жгли прошлогоднюю траву.

Монджу спустился, вышел и на середине парковки остановился.

Машина Чонсока стояла в дальнем углу, носом к забору, и снега на ней больше не было; было видно, что она серая и что на заднем сиденье стоят стопкой контейнеры, четыре или пять, и что верхний с синей крышкой.

Он постоял, посмотрел и пошёл к воротам.

Он не стал считать, сколько их.

Часть вторая. После встречи однокурсников

Глава 7

Её нашёл водитель разворотного кольца в Намъянджу в пять сорок утра.

Он выехал на кольцо, чтобы поставить машину, и увидел, что на скамейке под навесом кто-то сидит, и подумал, что пьяный, и хотел проехать мимо, и не проехал: сидящий был в одном ботинке.

Дальше всё было как положено: он позвонил, приехал патруль, приехала скорая, девушку увезли в районную больницу в Намъянджу, оттуда в Сеул. Материал ушёл к территориалам, территориалы посмотрели на место, откуда её увезли, и в понедельник в четыреста девятнадцатом на столе у Сыльги лежала папка в четыре листа.

Ким Севон, двадцать один год, студентка третьего курса. Суббота, встреча однокурсников в ресторане на Аче-ро, двадцать восемь человек, отдельный зал с шести до одиннадцати. Вышла в начале двенадцатого. У перекрёстка компания разошлась. Дальше она шла к остановке одна, и дальше был автомобиль.

Между остановкой в Кванджин-гу и скамейкой под навесом в Намъянджу было тридцать четыре километра и шесть часов.

— Заявление есть? — спросила Сыльги.

— Есть, — сказал Бомин. — И заключение будет во вторник.

Он дописал время и добавил, глядя в лист:

— Она в объяснении говорит, что их было двое.

— А в чём тогда вопрос?

— В том, что след один, — сказал Бомин.

* * *

Хван Ина отдала ей дело сама и в кабинете, а не в комнате.

— Территориалы не потянут, — сказала она. — И им нельзя: там половина свидетелей — дети из хороших семей, а у них двое сотрудников на район. Возьми себе.

— Возьму.

— Возьми и сделай одну вещь, — сказала капитан. — Не отдавай её никому из мужчин на первый разговор. Не потому, что они плохие. Потому что она уже рассказывала это троим и все трое были мужчины.

Она отложила спицы — ряд шёл ровно и в этот раз, — и посмотрела поверх очков.

— И ещё, — сказала она. — Она говорит, что их было двое. Ты услышишь это в первый же час и решишь, что это ужас. Я тебе заранее говорю: может, и ужас. А может, и нет.

— Принято.

Ким Севон жила в Кванджин-гу, в двух кварталах от университета, в однокомнатной квартире с общей кухней на этаже, и в квартире было чисто и очень мало вещей.

Она открыла сама. Она была маленькая, тонкая, с чёлкой, отросшей на глаза, и в свитере с рукавами, натянутыми на кисти; на левой руке рукав был закушен и мокрый.

— Инспектор Чон, Кванджин-гу.

— Здравствуйте, — сказала Ким Севон. — Разувайтесь, пожалуйста. У меня тут ковёр.

Сыльги села к столу и поставила стул так, чтобы сидеть к ней лицом, всем корпусом, а не боком, — и Ким Севон это заметила и посмотрела на неё внимательнее.

— Я расскажу ещё раз, — сказала она. — Мне сказали, что придётся рассказывать много раз.

— Не сегодня всё, — сказала Сыльги. — Сегодня только то, что было снаружи.

— Как это?

— Улица, машина, дорога, место. Что видели, что слышали, куда ехали. Про остальное у меня есть заключение, и я его прочитаю сама.

Ким Севон посмотрела на неё, и на секунду у неё что-то сдвинулось в лице и тут же встало обратно.

— Хорошо, — сказала она.

И начала рассказывать.

Она говорила ровно, подробно и без единой паузы, тем го-

лосом, каким рассказывают в третий раз: у первого рассказа есть дыры, у второго слёзы, у третьего нет ни того, ни другого — и слушать надо именно третий.

— Мы вышли в одиннадцать ноль пять.

— В начале двенадцатого, — сказала Сыльги, глядя в объяснение.

— В одиннадцать ноль пять, — сказала Ким Севон. — Там в объяснении написано «в начале двенадцатого», это я сама так сказала, я тогда ещё не смотрела. Потом посмотрела: я в одиннадцать ноль три написала подруге, что выхожу. Значит, ноль пять.

Она поправила и пошла дальше, и дальше поправляла всё время — свои же слова, чужие цифры, названия, — и делала это спокойно, как поправляют опечатку.

— На перекрёстке нас было шесть человек. Четверо пошли к метро. Мы с Мён Харин... нет. Харин ушла раньше, в десять десять, у неё смена. Мы там были без неё. Значит, я осталась с одним человеком, и он пошёл в другую сторону, и я пошла к остановке.

— Кто это был?

— Нам Кюсоп, — сказала Ким Севон. — Он организовывал встречу. Он спросил, довести ли меня, и я сказала, что не надо, и он пошёл. Он пошёл направо, к парковке.

Сыльги записала это левой рукой.

— До остановки сколько идти?

— Четыре минуты. Там прямо и один переход.

— Что было на остановке?

— Я до неё не дошла, — сказала Ким Севон. — Метров тридцать. Машина стояла у бордюра, серая или тёмная, я не знаю марку, я не разбираюсь. Задняя дверь открылась, когда я поравнялась.

Она остановилась.

— Дальше на меня надели куртку, — сказала она. — Сверху, на голову. И дальше я ничего не видела до самого конца. Совсем ничего. Даже когда мы приехали.

— Сколько ехали?

— Сорок минут или час. Я считала до трёхсот и сбилась.

— Что слышали?

— Дорогу, — сказала Ким Севон. — Радио не было. Один раз проехали что-то очень громкое, наверное, фуру. Потом стало без ям и без остановок, долго. Потом свернули, и дальше было плохо — гравий.

— На месте сколько пробыли?

— Не знаю, — сказала Ким Севон. — Долго. Там было холодно и пахло водой и соснами, и это я помню лучше всего, потому что куртка была на голове и я всё время дышала в чужую куртку, а пахло всё равно соснами.

— Как Вы поняли, что остались одна?

— По машине. Она уехала, звук отошёл, и стало очень тихо. Я досчитала до ста, потом ещё до ста, потом сняла куртку. Она сказала это так же ровно, как всё остальное.

— Куртка осталась там?

— Я её бросила, — сказала Ким Севон и в первый раз за час посмотрела Сыльги в лицо. — Извините. Я не подумала. Мне потом сказали, что надо было взять.

— Кто сказал?

— В больнице.

Сыльги записала «куртка — площадка, осмотр» и подчеркнула два раза: осмотр площадки был назначен на среду, а до среды оставались ночь и дождь.

— Голос?

— Голос был.

— Один?

Ким Севон посмотрела в стол.

— Голос был один, — сказала она. — Их было двое.

* * *

В отделе это выслушали и записали.

— Она вам объяснила, почему двое? — спросил Хомин.

— Нет.

— То есть она просто это знает.

— Она просто это знает, — сказала Сыльги.

Заключение пришло во вторник. Сыльги прочитала его один раз целиком, потом второй раз с середины, потом закрыла папку и минуту сидела, положив на неё ладонь.

В заключении стояло изнасилование. Одно слово, одна строка, и больше в этой папке про это не было ничего.

И там было второе: биологические следы одного мужчины. Одного. Профиль в базе не значился.

— Один, — сказал Хёнчоль, когда она спросила. — Сейчас техник говорит прямо: один. Я вам могу сказать, чего там нет, и не могу сказать, чего там не было. Это разные вещи, инспектор, и я эту разницу говорю двадцать девять лет, и меня двадцать девять лет слышат наоборот.

— Принято, — сказала Сыльги.

Она постояла у его стола ещё немного. Сказанное им было важнее, чем он думал, и за двадцать девять лет его, кажется, действительно ни разу не услышали правильно.

— Хёнчоль. Напишите мне это отдельной строкой, — сказала она. — Вот ровно так, как Вы сейчас сказали. Про разницу.

Хёнчоль поднял на лоб огромные очки и посмотрел на неё.

— Это не пишут, — сказал он.

— А Вы напишите.

* * *

Место нашли в среду.

Это была старая площадка у водохранилища в Намъянджу, с одной стороны сосны, с другой съезд к воде; летом там ставят машины рыбаки, а в апреле не ставит никто. От площадки до разворотного кольца было два километра шестьсот метров по обочине.

Она прошла их одна, в темноте, в одном ботинке.

Куртки на площадке не было.

Её искали два часа: сначала осмотром, потом по кругу от

площадки, потом по обочине и по кювету до самого кольца: бросить куртку и не заметить, как её уносит ветром, легче лёгкого. Куртки не было ни на площадке, ни в кювете, ни в соснах, ни в мусорном контейнере у съезда, ни у рыбацких мостков.

— Ветер, — сказал Ёнбин.

— Ветер, — согласился Хёнчоль. — Сейчас техник обращает внимание: с воскресенья тут было два дождя, и куртка, если она мокрая, никуда не летает. Мокрая куртка лежит.

Сыльги стояла и смотрела на гравий.

Кто-то приехал сюда после воскресного утра, прошёл по площадке и забрал с неё одну вещь.

Это ничего не доказывало. В деле это не стоило ни строки: пропавшая куртка, которую никто, кроме потерпевшей, не видел, — не улика, а отсутствие улики, и защита объяснит её ветром, собаками и любым из тех, кто ставит здесь машину летом.

Но кто-то за ней вернулся.

Сыльги стояла на этой площадке двадцать минут и смотрела на гравий, на котором за четыре дня и два дождя не осталось ничего, и считала, чего у неё нет: нет машины, нет номера, нет камеры — ближайшая на заправке в четырёх километрах, и запись там перезаписывается через семьдесят два часа, и семьдесят два часа прошли в понедельник, пока папка ехала от территориалов к ней; нет телефона потерпевшей — он остался в машине или в кювете; нет свидетелей.

Есть двадцать восемь человек, которые в субботу с шести до одиннадцати сидели в одном зале.

— Бомин.

— Здесь.

— Список. Все двадцать восемь, с телефонами и адресами. И ресторан: кто платил, кто бронировал, у кого чек.

— Бронировал Нам Кюсоп, — сказал Бомин, не заглядывая никуда. — И платил тоже он, наличными, за всех. Я утром спросил.

Сыльги посмотрела на него.

— Хорошо, — сказала она.

* * *

В ресторан на Аче-ро поехали втроём.

Заведение было большое и недорогое, из тех, где отдельные залы отгорожены раздвижными дверями и слышно всё; хозяйка, госпожа Киль, шестьдесят один год, вышла к ним, вытирая руки, и сказала, что помнит: студенты, шумели, но не дрались, посуду не били, ушли все сразу.

— Все сразу? — спросил Хомин и улыбнулся ей.

Он улыбнулся так, как улыбался всем, кого спрашивал, — не служебно и не сочувственно, а как улыбаются человеку, с которым сейчас будут разговаривать долго и никуда не спешить, — и госпожа Киль села к ним за стол, чего делать не собиралась.

— Все сразу, — сказала она. — Они в одиннадцать вышли гурьбой, я ещё подумала: молодцы, дружные. У нас так не

бывает почти. Обычно расползаются по трое.

— Кто платил?

— Мальчик один. Заранее приходил, зал бронировал, сам пересчитывал приборы. — Она подумала. — Наличными платил. Тут не все наличными.

— Сколько вышло?

— Миллион четыреста двадцать, — сказала госпожа Киль. — Я потому и помню.

Зал был длинный, на два стола, с раздвижной дверью в коридор и с окном во двор. Сыльги обошла его по периметру и остановилась у окна: во дворе стояли ящики, кондиционер и мусорные баки, и от двора к парковке шёл проход, и с парковки на улицу был отдельный выезд, мимо камеры над входом.

— Камера над входом пишет? — спросила она.

— Пишет. Только она вход снимает, — сказала госпожа Киль. — А со двора кто выехал, того не видно.

Донук, вернувшись в отдел, положил на стол свой лист, и слева в нём не было ничего, а справа стояло четыре строки, и первой была: «Кто выехал со двора».

Он ничего не сказал и ушёл, и лист остался лежать.

* * *

Сумку нашли в четверг, и нашёл её не патруль, а дворник.

Она лежала в кустах в двенадцати метрах от остановки, застёгнутая, и в ней было всё, кроме телефона: студенческий, кошелёк с восемью тысячами вон, ключи, зарядка, упаковка

пластырей и библиотечная книга.

Книгу Сыльги вынула и посмотрела на корешок. «Введение в стилистику», издание университетской библиотеки, срок возврата — пятница.

В пятницу она поехала к Ким Севон отдавать вещи. Вещи можно было отправить. Она поехала.

Ким Севон приняла пакет, поставила его на стол, не открывая, и сказала:

— Там книжка.

— Там книжка.

— Её надо было в пятницу, — сказала Ким Севон. — Я ни разу не сдавала позже. Ни разу за три года.

И вот тут она заплакала — быстро, стыдась, вытирая лицо тем самым закушенным рукавом, и сказала «извините» четыре раза, и Сыльги сидела напротив, лицом, и не говорила ничего — говорить тут было нечего, а уйти было бы хуже.

Потом Ким Севон высморкалась, выпрямилась и сказала:

— Мне никто не верит про второго.

— Я не сказала, что не верю.

— Вы сказали «объективно не подтверждается», — сказала Ким Севон. — Это в бумаге. Я читала.

Сыльги молчала.

— Там было двое, — сказала Ким Севон. — Я знаю, что это звучит. Я знаю, что я ничего не видела. Я не могу это объяснить, и от этого получается, что я не могу это доказать, и от этого получается, что этого не было. Но там было двое,

и второй мне страшнее.

— Почему?

— Потому что первый всё время говорил, — сказала Ким Севон. — А второй — ни разу.

* * *

Вечером Сыльги дописала постановление и остановилась на одной строке.

Строка была стандартная и правильная: «Со слов потерпевшей, нападавших было двое; объективными данными указанное не подтверждается».

Она прочитала её три раза.

Всё в ней было верно. Заключение давало одного. Следов второго не было ни на месте, ни на одежде, ни где-либо ещё. Написать иначе значило бы написать неправду, а неправда в постановлении живёт дольше всех и потом её вытаскивает защита.

Сыльги оставила строку и подписалась внизу левой рукой, быстро, ровно и без нажима.

Потом посидела, глядя на подпись.

Потом достала бумажный блокнот и написала на чистой странице одну фразу, для себя: «Она знает, откуда шёл голос».

И утром в понедельник позвала Монджу.

Глава 8

Начинающий всегда рисует предмет.

Ему дают гипсовую голову, он смотрит на гипсовую голову и рисует гипсовую голову, и она у него выходит похожей и мёртвой, и он не понимает почему. А научить его можно только одному: перестать смотреть на предмет и начать смотреть на то, что вокруг него. На просвет между рукой и боком. На кусок стены, который остался виден между шеей и плечом. На тень, которая легла не на модель, а рядом с ней, и по форме которой видно всё — и рост, и наклон, и то, что человек устал стоять.

Эти куски пустоты не имеют названия и потому легко рисуются: их не с чем сравнивать, и рука не мешает, и глаз не поправляет. А когда их поставишь верно, между ними сама собой оказывается фигура, которую ты не рисовал.

Так можно построить человека, ни разу на него не посмотрев.

Так, впрочем, можно и ошибиться — если пустоты две, а фигуру ты ставишь одну.

— Господин Ким, — сказала инспектор Чон от двери. — Вы поедете.

* * *

Она рассказала ему это в машине, коротко и в том порядке, в каком было в деле.

Двадцать один год. Суббота, ресторан, двадцать восемь человек. Перекрёсток. Тридцать метров до остановки. Машина. Куртка на голову. Тридцать четыре километра. Площадка у водохранилища. Два километра шестьсот метров по обочине в одном ботинке. Заключение: следы одного мужчины.

— Она говорит, что их было двое, — сказала инспектор Чон. — Она не видела ничего. Совсем ничего, ни одной секунды.

— Что она слышала?

— Голос. Один голос.

Монджу смотрел в окно.

— Господин Ким, — сказала инспектор Чон. — Три вещи. Первое: про то, что было на площадке, Вы не спрашиваете. Вообще. Это есть в бумагах, и это читала я.

— Хорошо.

— Второе: она уже четыре раза рассказывала одно и то же и научилась рассказывать. Если Вы попросите её рассказать в пятый, Вы получите пятый раз.

— Я не буду просить рассказывать.

— Третье, — сказала инспектор Чон и остановилась на светофоре у моста. — Если у Вас ничего не выйдет, скажите ей это сами. Не мне при ней, а ей.

* * *

Накануне вечером он прочитал всё, что она уже рассказывала.

Этого оказалось четыре документа: объяснение патрульному в машине скорой, объяснение в больнице, объяснение у территориалов и протокол допроса, который писала инспектор Чон. Монджу прочитал их подряд и, дочитав, взял чистый лист и стал считать не ответы, а вопросы.

Вопросов было шестьдесят один.

Сколько было нападавших — семь раз. Видела ли она кого-нибудь — шесть раз. Как выглядел — четыре раза, и все четыре напрасно: она не видела. Марка машины — три раза. Цвет — три. Знакомы ли ей эти люди — пять. Не показалось ли ей — один раз, у территориалов, и Монджу перечитал этот вопрос дважды и понял, что тот, кто его задавал, задавал его не со зла: он просто хотел, чтобы у неё была возможность отступить.

Ни одного вопроса о том, откуда что шло.

Это не было чьей-то ошибкой. Так спрашивают всех и везде, потому что дело собирается из «кто» и «что», а «откуда» никому не нужно: оно ничего не доказывает и в постановление не ложится. Просто у человека, которому на голову надели куртку, «кто» и «что» отобраны целиком, а «откуда» осталось всё.

Монджу отложил листы и посидел в темноте.

Он подумал, что ей четыре раза задавали вопросы, на которые у неё нет ответов, и что после четвёртого раза человек начинает считать, что дело в нём.

* * *

В квартире было чисто и очень мало вещей, и от этого казалось, что человек здесь недавно и ненадолго.

Ким Севон открыла сама, посмотрела на Монджу и сказала:

— Это который рисует?

— Это который рисует, — сказала инспектор Чон.

— А я лица не видела.

— Он не про лица, — сказала инспектор Чон и села к стене, и больше за час не сказала ни слова.

Монджу поставил стул не напротив, а сбоку, под углом, потому что напротив садятся, когда собираются смотреть, а он не собирался. Он положил на колени планшет и достал один карандаш.

— Ким Севон, я не буду спрашивать, что произошло, — сказал он. — Я буду спрашивать, где что было. Если я спрошу что-нибудь не то, скажите «нет», и я пойду дальше. Не нужно объяснять почему.

Она подумала.

— Хорошо, — сказала она.

— Вы шли к остановке. Тротуар широкий?

— Обычный. Метра два.

— Вы шли ближе к домам или ближе к дороге?

— К домам. Я всегда к домам.

Монджу поставил на листе две линии — стену и бордюр — и точку между ними, ближе к стене.

— Машина стояла где?

— У бордюра. Я её видела боком, когда подходила.

— Она стояла или подъехала?

— Стояла, — сказала Ким Севон. — Она стояла давно, у неё стекло было запотевшее снизу.

Монджу остановился на секунду. Он не стал спрашивать, откуда она знает про запотевшее: она это видела. Человек, который заметил запотевшее стекло, заметил и всё остальное и сам об этом не знает.

— Хорошо. Дверь открылась. Какая?

— Задняя. Ближняя ко мне.

— Дверь открылась сама или её открыли?

— Изнутри, — сказала Ким Севон. — Толкнули изнутри, она пошла на меня.

— И в этот момент — голос. Откуда он шёл?

Она открыла рот и закрыла.

— Не торопитесь, — сказал Монджу. — Не вспоминайте слова. Вспоминайте, куда Вы дёрнули головой.

Ким Севон сидела и смотрела в стол, и вдруг подняла руку и показала вбок и вниз — на уровень своего колена, вперёд и влево.

— Оттуда, — сказала она. — Снизу. Он был в машине и сидел.

— Сколько шагов от Вас до этого места?

— Полтора. Может, два.

Монджу поставил вторую точку на листе — в машине, у ближней задней двери, — и провёл от неё к первой короткую

линию, и подписал: «1».

— В машине пахло чем-нибудь?

— Освежителем, — сказала Ким Севон. — Такой, знаете, ёлочка. И ещё чем-то химическим, но не бензином. Сладким.

— Сиденье под Вами было какое?

— Скользкое. Не ткань. И холодное.

— Чехлы?

— Не знаю, — сказала она и подумала. — Наверное, чехлы. Оно было холодное, а ехали мы почти час, и оно так и не согрелось подо мной. Значит, что-то такое.

Монджу записал на полях два слова и не стал говорить, что оба ничего не дадут: чехлов из кожанменителя в Сеуле столько же, сколько машин, а ёлочку продают на каждой заправке. Он записал их потому, что человек, которого записывают, продолжает вспоминать, а человек, которого перебивают, останавливается.

— Хорошо. Теперь куртка, — сказал он.

— Да.

— Куртка пришла откуда?

— Сзади, — сказала Ким Севон.

Она сказала это сразу, без паузы, и на этом слове у неё в первый раз изменился голос — не дрогнул, а стал тише, как будто она сама себя услышала.

— Сзади и сверху, — сказала она. — Мне её надели через голову, сверху вниз, и руки прижали. Сзади.

Монджу не поднял головы.

Он поставил третью точку — за спиной у первой, в полшаге, — и провёл от неё стрелку.

— Между тем, как открылась дверь, и тем, как на Вас надели куртку, сколько прошло?

— Нисколько.

— Одну секунду? Две?

— Нисколько, — сказала Ким Севон. — Это было одно движение. Дверь пошла на меня, и сразу стало темно.

Монджу положил карандаш.

На листе у него было три точки: она, машина и то, что было за спиной. Между второй и третьей — полтора шага вперёд, разворот на сто восемьдесят градусов, полтора шага назад и куртка через голову, натянутая сверху вниз двумя руками; и всё это — за то время, за которое открывающаяся дверь доходит до человека, стоящего в полутора шагах.

Он подвинул лист так, чтобы ей было видно.

— Смотрите, — сказал он. — Вот Вы. Вот дверь и голос. Вот куртка. Поправьте меня, если я поставил не так.

Ким Севон посмотрела.

Потом взяла карандаш — он отдал его сразу — и передвинула точку куртки на сантиметр правее.

— Он был чуть справа, — сказала она. — Не ровно сзади. Справа сзади.

— Хорошо, — сказал Монджу. — Тогда у меня вопрос, и это единственный вопрос, который я Вам сегодня задам про

людей. Человек, который сидел в машине и говорил, — могли он за это время выйти, обойти Вас и оказаться у Вас за правым плечом?

В комнате было очень тихо.

— Нет, — сказала Ким Севон.

* * *

Дальше они делали площадку, и это заняло сорок минут.

Монджу нарисовал её со слов: гравий, сосны с одной стороны, съезд к воде с другой. Он не спрашивал ни о чём, кроме звуков и направлений, и она отвечала точно, и один раз поправила его на восемьдесят сантиметров.

— Голос был отсюда, — сказала она и показала на лист.

— Он стоял вот тут и говорил.

— Всё время оттуда?

— Он ходил. Но он всё время говорил, и я поэтому знала, где он.

— А когда он молчал?

— Он не молчал, — сказала Ким Севон.

Монджу отметил это на полях: «говорит непрерывно». Люди, которые говорят непрерывно, редко это замечают за собой; зато их всегда слышно, и в темноте они превращаются в единственную точку, которая есть.

— Теперь другое, — сказал он. — Гравий. По гравию слышно шаги?

— Слышно. Очень.

— Пока он говорил и ходил — Вы слышали гравий ещё

где-нибудь?

Ким Севон сидела не двигаясь.

— Да, — сказала она.

— Где?

Она подняла руку и показала — далеко в сторону, почти за спину, туда, где на его листе стояли сосны.

— Там, — сказала она. — Всё время в одном месте. Он там переступал. Знаете, как переступают, когда стоят долго и мёрзнут: с ноги на ногу, и гравий чуть-чуть. Я это слышала, наверное, раз десять. И один раз он сморкнулся.

— Он что-нибудь сказал?

— Ни разу, — сказала Ким Севон. — Ни одного слова. Он просто там стоял.

Монджу поставил на листе четвёртую точку — в стороне, у сосен, — и обвёл её кружком, и держал карандаш над бумагой ещё секунду, и не написал рядом ничего.

* * *

— Скажите мне это словами, — попросила Ким Севон, когда он собрал листы. — Пожалуйста. Мне нужно словами.

Монджу положил планшет на колени.

— В ту минуту, когда на Вас надели куртку, — сказал он, — голос был в машине, слева и ниже Вас, а руки были справа сзади. Между этими двумя местами нельзя оказаться за одно движение. Значит, рук и голоса было двое.

— Да, — сказала Ким Севон.

— На площадке голос всё время говорил и всё время дви-

гался. И всё это время в стороне у сосен кто-то переступал на месте.

— Да.

— Вы не видели ни одного лица, — сказал Монджу. — Зато Вы всё время знали, где кто стоит. Это не хуже. Это, честно говоря, полезнее.

Ким Севон посмотрела на свои руки.

— То есть я не сошла с ума, — сказала она.

— Вы ни разу и не начинали, — сказал Монджу.

Она кивнула и вытерла лицо рукавом, и рукав был закушен и мокрый, и она сделала это быстро и сердито, как делают, когда злятся на себя, а не на других.

— А кто он? — спросила она. — Второй.

— Я не знаю.

— А что Вы знаете?

Монджу подумал.

— Что он не боялся замёрзнуть, — сказал он. — Что он стоял там, куда его поставили, и стоял долго, и не подошёл ни разу, и не сказал ни слова, и никуда не ушёл. Человек, который делает это по своему решению, обычно перестаёт стоять и начинает что-нибудь делать. Он не начал.

* * *

На лестнице инспектор Чон остановилась на площадке между этажами.

— Это в дело не поставишь, — сказала она.

— Не поставишь.

— Защита скажет, что Вы задавали наводящие. И будет права наполовину: Вы их задавали.

— Задавал, — сказал Монджу. — Я спрашивал, где что было, и это наводящие вопросы о пространстве. Про людей я спросил один раз, и один раз она ответила «нет».

Инспектор Чон посмотрела на его листы. Он держал их так, чтобы было видно: четыре точки, стрелка, круг у сосен.

— Значит, так, — сказала она. — Второй нам ничего не даст. Ни следов, ни голоса, ни лица. Мы можем его искать только через первого.

— Да.

— А первый у нас — двадцать восемь человек, которые в субботу ушли из ресторана все сразу и дружно.

Она пошла вниз, и на середине пролёта сказала, не оборачиваясь:

— Двадцать восемь человек, господин Ким. Вы вообще видели когда-нибудь, чтобы двадцать восемь человек ушли из ресторана все сразу?

— Нет, — сказал Монджу. — Я видел, как двадцать восемь человек одинаково рассказывают про выставку, на которой были все. Это бывает, когда кто-то один сказал им, что там было, и сказал первым.

Инспектор Чон остановилась на нижней ступеньке.

— И это ничего не доказывает, — сказала она.

— Ничего, — согласился Монджу. — Это только объясняет, почему они не путаются.

В отделе она положила его листы на стол и позвала Донука.

Донук пришёл со своим листом, посмотрел на четыре точки, на стрелку и на кружок у сосен, и ничего не спросил. Он взял карандаш и вписал в правый столбик новую строку, ниже трёх прежних.

«Кто стоял у сосен».

— Это не улика, — сказала инспектор Чон.

— Я не спорю, — сказал Донук. — Я просто веду.

Он подумал и добавил ещё одну строку, последнюю:

«Кто вернулся за курткой».

* * *

Монджу вышел за ней на улицу.

Была середина апреля, и во дворе цвело то дерево, которое цветёт первым и потом весь год стоит никаким; лепестки лежали на капоте машины и на асфальте, и были они не белые, а чуть тёплые, ближе к неаполитанской, и он это отметил и понял, что за последний час не отмечал ничего.

Глава 9

Двадцать шесть человек опросили за четыре дня.

Двадцать восемь было в зале. Одна — Ким Севон. Одна — Мён Харин, которая ушла в десять десять на смену и потому в субботнем вечере не участвовала с того момента, когда он стал иметь значение. Оставалось двадцать шесть, и все двадцать шесть пришли, когда их позвали, пришли вовремя, разговаривали вежливо и отвечали полно.

Это и было первое, что не понравилось Сыльги.

Она вела допросы одиннадцать лет и знала, как ведёт себя группа молодых людей, которых вызвали по делу об их однокурснице. Двое не приходят и переносят. Один приходит с родителем. Один приходит с адвокатом: у отца есть знакомый адвокат, и отец настоял. Трое говорят «я не помню» — они и вправду не помнят и боятся сказать неправду. Двое врут по мелочи — про то, сколько выпили, — и потом краснеют.

Здесь не было ничего из этого.

Здесь двадцать шесть человек по очереди садились на стул и рассказывали один и тот же вечер.

О Кванмин, двадцать два года, сел, положил руки на колени и рассказал вечер.

— Мы пришли к шести. Сначала сидели по кучкам, потом Кюсоп всех пересадил, а то, говорит, неинтересно. Часов в

восемь принесли горячее. Потом Ким Джону пел, он всегда поёт. Потом мы фотографировались, потом ещё сидели, потом вышли все вместе.

— Кто где сидел?

— Я сидел с краю у окна, — сказал О Кванмин. — Со мной Кук Джису и ещё двое.

— Кто-нибудь выходил надолго?

— Нет.

— Уверены?

— Уверен, — сказал О Кванмин. — Мы бы заметили.

Кук Джису, двадцать один год, села, положила руки на колени и рассказала вечер.

— Мы пришли к шести. Сначала по кучкам, потом Кюсоп нас пересадил. В восемь горячее. Потом Джону пел. Потом фотографировались. Потом вышли все вместе.

— Кто где сидел?

— Я с краю у окна, — сказала Кук Джису. — Со мной Кванмин и ещё двое.

— Кто-нибудь выходил надолго?

— Нет. Мы бы заметили.

Сыльги отложила ручку.

— Кук Джису, — сказала она. — Скажите мне, что было между горячим и песней.

Девочка подумала.

— Мы сидели, — сказала она.

— Что делали?

— Ели. Разговаривали.

— О чём?

— Не помню, — сказала Кук Джису. — Это же час прошёл.

— Час, — сказала Сыльги. — А песню Вы помните.

— Ну её же все помнят.

Вот это и было всё, и это было честно, и с этим ничего нельзя было сделать. У них у всех было одно и то же: четыре ярких куса и провалы между ними, а провалы заполнены не памятью, а уверенностью, что раз никто не выходил, значит, никто не выходил.

* * *

К четвергу Бомин свёл всё в таблицу, и таблица легла на стол, и Сыльги смотрела на неё двадцать минут.

Слева — двадцать шесть фамилий. Сверху — время, с шести вечера до полуночи, по получасам. В клетках — где человек был и кто это подтверждает.

Не было ни одной пустой клетки.

Каждый из двадцати шести был подтверждён минимум двумя другими в каждом получасе. Каждый из двадцати шести подтверждал минимум двоих. Между шестью и одиннадцатью не нашлось ни одного промежутка, в котором хоть кто-нибудь оставался бы неучтённым дольше восьми минут — и восемь минут были у одного, который ходил в туалет и которого видели двое на входе и двое на выходе.

— Красиво, — сказал Хомин.

— Очень, — сказала Сыльги.

Она провела пальцем по строке и остановилась.

— Хомин. Ты в субботу вечером был где?

— Дома.

— Кто подтвердит?

Хомин подумал.

— Никто, — сказал он. — Я один живу.

— Вот, — сказала Сыльги.

Она встала и подошла к доске.

Двадцать шесть человек, из которых у двадцати шести есть алиби на каждые полчаса пятичасового вечера, — это не двадцать шесть невиновных. Это двадцать шесть человек, которые за прошедшую неделю очень хорошо вспомнили субботу. Живая память так не выглядит. Живая память дырявая: человек не знает, где он был между половиной девятого и девятью, потому что между половиной девятого и девятью он просто сидел.

— Они не врут, — сказала Сыльги. — Это хуже. Они говорят правду, которую выучили вместе.

— Тогда мы их не ломаем, — сказал Хомин.

— Не ломаем, — согласилась она. — Мы их и не будем.

* * *

В пятницу пришёл ответ по группе.

Группа в мессенджере называлась «Курс 21 — встреча» и была создана за три недели до субботы. В ней было двадцать девять участников: двадцать восемь пришедших и один, ко-

торый в итоге не пришёл. Переписка была обычная: кто идёт, кто не идёт, сколько скидываться, у кого аллергия.

В два часа семь минут ночи с субботы на воскресенье в группе появилось одно сообщение.

Написал его Нам Кюсоп.

«Всем. Если будут спрашивать про вчера: мы вышли все вместе около одиннадцати и разошлись у перехода. Так и было. Ничего не придумывайте».

Ниже стояло семнадцать «хорошо», четыре пальца вверх и одно «а что случилось?», на которое никто не ответил.

Сыльги прочитала это четыре раза.

Гениальность была в трёх словах: «Так и было». Он не просил врать. Он не сочинял им версию. Он взял правду — они действительно вышли вместе около одиннадцати и действительно разошлись у перехода — и вложил её всем в рот заранее, за девять часов до первого вопроса и за трое суток до первого допроса. И теперь двадцать шесть человек рассказывали правду, и правда эта была одна на всех и сделана не ими.

— Два ноль семь ночи, — сказала она вслух. — Ким Севон нашли в пять сорок. Он написал это за три с половиной часа до того, как её вообще кто-то нашёл.

В комнате стало тихо.

— Он мог узнать, — сказал Бомин осторожно. — Кто-нибудь мог написать ему раньше.

— Кто? Она была на площадке одна.

Бомин записал время в углу планшета и больше ничего не сказал.

* * *

Нам Кюсопа вызвали на понедельник.

Он пришёл в десять, за пятнадцать минут до назначенного, в чистой рубашке, и первое, что он сделал, сев, — это перевернул руку и посмотрел на часы. Часы у него были надеты циферблатом внутрь, к запястью, и, чтобы взглянуть на них, он выворачивал предплечье наружу, и от этого простое движение выглядело как жест.

— Нам Кюсоп, двадцать два года. Вы организовывали встречу.

— Я, — сказал он. — Я и в прошлом году организовывал. Меня выбирали старостой два раза, и в этом году осенью снова будут выборы, так что, скорее всего, и на следующий год я.

— Вы платили за всех.

— Наличными, — сказал Нам Кюсоп. — Так проще: собрать со всех потом всё равно не выйдет, а если платить по одному, там сорок минут у кассы. Я заплатил, а кто вернул, тот вернул.

— Сколько вернули?

Он подумал.

— Человек десять, — сказал он.

— То есть шестнадцать человек Вам должны.

— Это не так называется, — сказал Нам Кюсоп и улыб-

нулся вежливо. — Меня осенью опять будут выбирать. Если бы я считал, кто мне сколько должен, меня бы не выбрали.

Сыльги посмотрела на него.

— Расскажите про два часа семь минут ночи.

Он не переменялся в лице. Он даже не помолчал.

— Я написал в группу, — сказал он. — Я утром понял, что глупо получилось.

— Что Вы поняли в два часа ночи?

— Что Севон не отвечает, — сказал он. — Я ей писал в час и в два, и она не читала. И я испугался, что с ней что-то, и что нас всех будут спрашивать, и что кто-нибудь скажет что-нибудь не то. У нас есть двое, которые всегда говорят не то. И я написал, чтобы все говорили как было.

— Зачем предупреждать двадцать восемь человек, если Вы просто испугались за одного?

— Она хотела сказать, — начал Нам Кюсоп, — то есть, простите, Вы хотите спросить, откуда я знал, что что-то случилось.

— Я это и спросила.

— Я не знал, — сказал он. — Я боялся. Это разные вещи.

Он сказал это спокойно и правильно, и Сыльги подумала, что фразу «это разные вещи» она за последнюю неделю слышала уже дважды и что в первый раз её сказал Хёнчоль и она была правдой.

— Вы предлагали проводить её до остановки.

— Предлагал. Она отказалась.

— Куда Вы пошли?

— К парковке. Направо.

— У Вас есть машина?

— Нет, — сказал Нам Кюсоп. — У меня нет прав.

— Тогда зачем Вы пошли к парковке?

Он посмотрел на неё, и это был первый раз, когда он посмотрел прямо и держал взгляд.

— Там короче до метро, — сказал он. — Через двор.

* * *

После него допросили ещё четверых, и все четверо сказали то же самое, что говорили раньше, и один добавил, что Кюсоп «нормальный, он всегда всё организует».

Вечером Сыльги стояла у доски и смотрела на таблицу.

Прямых оснований не было ни на грамм. Сообщение в два ноль семь — не улика; ему в суде объяснят, что молодой человек беспокоился о девушке. Оплата наличными — не улика. Отсутствие прав — вообще не улика, а наоборот: без прав он никого никуда не отвёз.

Кроме того, оставалось второе, и второе было главное. Если Нам Кюсоп в одиннадцать ноль пять пошёл к парковке и через двадцать минут был в машине у остановки, то за рулём был не он.

Кто-то стоял в стороне у сосен и переступал с ноги на ногу, и не сказал ни одного слова, и не подошёл, и никуда не ушёл.

— Хомин, — сказала она. — Завтра берём адрес по Пак

Унсику, там условка и мы обещали проверить. Патруль вызван, поедешь...

Она остановилась.

Она остановилась на середине фразы, потому что услышала, что собиралась сказать, и обнаружила, что не говорит этого с января. Она не говорила, кто идёт первым. Ей не приходилось.

— ...в девять, — договорила она.

— Есть, — сказал Хомин.

Он сказал это спокойно и стал надевать ветровку, и Сыльги отвернулась к доске и подумала о другом: на завтра было двадцать шесть подтверждённых алиби, а адрес по Пак Унсику был на шесть минут работы.

* * *

Ём Чхольсу сказал ей по телефону то, что она знала и без него.

— Образец Вы у него не возьмёте.

— Я знаю.

— Вы знаете, — сказал Ём Чхольсу. — Тогда я всё-таки скажу вслух, чтобы Вы не написали мне постановление, которое я верну. У Вас на него нет ничего. У Вас есть сообщение в мессенджере, в котором он просит говорить правду, и то, что он заплатил за ужин. Он не судим, у него нет прав, у него алиби на весь вечер, подтверждённое двадцатью пятью людьми, и его никто не опознаёт: опознавать нечем. Если Вы принесёте мне это, я откажу, и я откажу правильно.

— А если он даст добровольно?

— Он не даст, — сказал Ём Чхольсу. — А если даст, я Вам это в суде разнесу за него сам. У меня будет двадцать два года, отсутствие защитника и слово «добровольно» в протоколе. Инспектор. Найдите второго.

* * *

В четверг Сыльги поехала к Ким Севон: она обещала приезжать раз в неделю, и раз в неделю уже наступило.

Ким Севон открыла, поставила чайник и села, и Сыльги в первый раз увидела у неё на столе учебники.

— Я на семинар не пошла, — сказала Ким Севон. — Но я читаю. Я думала, что не смогу читать, а читать как раз можно.

— Хорошо.

— Как там?

Сыльги посмотрела на неё.

Правильный ответ существовал и был написан в инструкции: работа ведётся, о результатах будет сообщено. Она проносила его сотни раз и знала, как он звучит на той стороне стола.

— Двадцать шесть человек рассказывают один и тот же вечер одними и теми же словами, — сказала она. — Я не могу их на этом поймать, потому что они говорят правду. Мне нужен второй, а второго нет ни в одной бумаге. Пока — так.

Ким Севон помолчала.

— Это лучше, — сказала она.

— Что лучше?

— Когда говорят, что есть, — сказала Ким Севон. — Мне в больнице всё время говорили, что всё будет хорошо. Я семь раз слышала за два дня. Я считала.

* * *

Мён Харин пришла сама, в пятницу, и пришла не вовремя: у неё была смена в двенадцать, а она явилась в половине двенадцатого.

Она была круглоплечая, в свитере с растянутыми рукавами, и всё время держала руки в рукавах.

— Я, наверное, зря, — сказала она. — Я не свидетель. Я ушла в десять десять.

— Садитесь.

— Я правда ушла в десять десять, — сказала Мён Харин, садясь. — У меня в десять сорок смена, я всегда ухожу заранее. Я не свидетель.

Сыльги придвинула стул и села к ней лицом.

— Мён Харин. За четыре часа до того, как Вы ушли, в том зале сидели двадцать восемь человек. Вы там были три часа. Расскажите мне, кто где сидел.

— Это можно, — сказала Мён Харин с облегчением.

Она рассказывала двадцать минут и рассказывала хорошо: она помнила, кто пересаживался, кто выходил курить, кто с кем не разговаривал и почему. Она не помнила ни одного времени.

— Во сколько выходил Нам Кюсоп?

— Я не смотрю на часы, — сказала Мён Харин. — Я снимаю.

— Что снимаете?

— Всё, — сказала она. — Я всё снимаю. Секунд по пять, по десять. Просто так, я потом не смотрю. У меня их там тысячи четыре, я ни одно не удаляла с одиннадцатого класса.

Сыльги медленно положила ручку.

— В субботу Вы снимали?

— Ну конечно, — сказала Мён Харин. — Там же все были.

Она достала телефон и стала листать, придерживая его двумя пальцами, и лицо у неё было такое, будто она делает одолжение, о котором её никто не просил.

— Вот, — сказала она. — Тут семь штук. Четыре в зале, одно в коридоре, два во дворе, когда я уходила.

— Мён Харин.

— Да?

— Вы свидетель, — сказала Сыльги.

Глава 10

У Мён Харин было четыре тысячи роликов, и она не посмотрела ни одного.

Монджу слышал это в коридоре, мимоходом, от Бомина, и потом весь день возвращался к этой цифре. Четыре тысячи раз человек поднимал телефон — происходящее казалось ему стоящим того, чтобы остаться, — и ни разу не захотел на это посмотреть. Значит, дело было не в том, чтобы потом смотреть. Дело было в том, чтобы происходящее не пропало. Она восемь лет складывала мир в коробку и ни разу её не открыла, и в конце концов коробку открыли за неё, и в ней лежало то, чего она сама не видела.

Он подумал, что не знает ни одного художника, который делал бы иначе. Папки с набросками стоят у всех, и никто в них не лезет; лезут, когда что-нибудь случается.

Семь роликов Мён Харин заняли на диске четыре с половиной минуты.

Хонсун разложил их по секундам на трёх мониторах и три дня почти не разговаривал, а на четвёртый начал разговаривать с монитором, и это значило, что он что-то нашёл.

Четыре ролика из зала были бесполезны, и Монджу это понял сразу: там были лица, много лиц, все двадцать восемь, но все они были внутри — за столом, с палочками, с телефонами, с раскрытыми ртами. Два дворовых были сняты на

ходу, смазаны и тёмные.

Впрочем, одно в зальных роликах было.

На третьем, снятом в двадцать один пятьдесят пять, в глубине кадра, за чужими головами, было видно Нам Кюсопа: он сидел вполоборота, слушал соседа, кивал — и в какой-то момент вывернул левое предплечье наружу и посмотрел на часы, надетые циферблатом внутрь.

На четвёртом, снятом в двадцать два ноль восемь, он сделал это ещё раз.

Монджу отметил оба времени и отдал их Бомину, и Бомин записал их в углу планшета, и на этом всё: смотреть на часы не запрещено, и человек, ждущий конца вечера, смотрит на них десять раз. Тринадцать минут между двумя взглядами ничего не значили.

Они значили только, что между двадцать один пятьдесят пять и двадцать два ноль восемь человек, сидевший за столом, дважды хотел знать, который час, — а в тамбуре в это время стоял тот, кого он не мог видеть от стола.

Оставался пятый: коридор.

Девять секунд.

Мён Харин снимала его в двадцать два ноль девять, идя к выходу, держа телефон в опущенной руке, — она снимала, кажется, свои же ботинки и пол, — и на пятой секунде подняла телефон, чтобы посмотреть время, и кадр поехал вверх и вбок, и в него попал конец коридора.

В конце коридора была стеклянная перегородка тамбура.

За ней стоял торговый автомат, а слева от автомата — тёмное окно во двор, и ночью такое окно работает зеркалом.

В зеркале был человек.

* * *

— Он маленький, — сказал Хонсун, не оборачиваясь. — В смысле, в кадре. Он занимает сорок один пиксель по высоте. Извини.

Он сказал «извини» монитору.

— Сорок один — это ничего, — продолжил он. — Это вообще ничего. Но он там девять секунд, и камера едет, и в этом всё дело: когда камера едет, каждый кадр берёт кусочек по-своему, и если их сложить правильно, из тридцати плохих кадров выходит один нормальный. Не в четыре раза, конечно, но раза в два. Это называется...

— По-корейски, Хонсун, — сказала инспектор Чон от доски.

Хонсун остановился, поправил очки костяшкой — руки у него были на клавиатуре, и сказал:

— Я сложу двести семьдесят кадров в один и вытяну отражение. Будет плохо, но будет.

— Сколько?

— Четыре дня. Может, три.

Он проработал четыре.

На вторые сутки он спал в кабинете, положив голову на руку рядом с клавиатурой, и Ёнбин накрыл его чьей-то курткой, и никто эту куртку потом не искал. На третьи он попр-

сил, чтобы к нему никто не подходил, и извинился за просьбу, а потом ещё раз извинился отдельно перед инспектором Чон, за то, что извинился.

Монджу за эти четыре дня не подходил к нему ни разу.

Он знал, что если подойдёт, то начнёт смотреть на промежуточные картинки, а промежуточные картинки — это худшее, что может увидеть человек, которому потом работать: глаз запоминает шум и потом достраивает по нему. Он видел, как это бывает: свидетелю показывают плохое фото, и через день он помнит уже не человека, а фото.

Поэтому он ждал.

Ждать он умел плохо, но умел.

* * *

В пятницу в одиннадцать вечера Хонсун разворачивается на стуле и говорит:

— Есть.

Монджу подошёл.

На среднем мониторе стоял один кадр, и в нём был тамбур: стеклянная перегородка, торговый автомат, кусок двери на улицу и человек, стоящий между автоматом и перегородкой, лицом в коридор.

Изображение было плохое. Оно было плохое так, как бывает плохо отражение в ночном окне: без цвета, без резкости, с двойным контуром от второго стекла. Лица не было. Было тёмное пятно на месте лица и светлое пятно на месте кисти правой руки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.